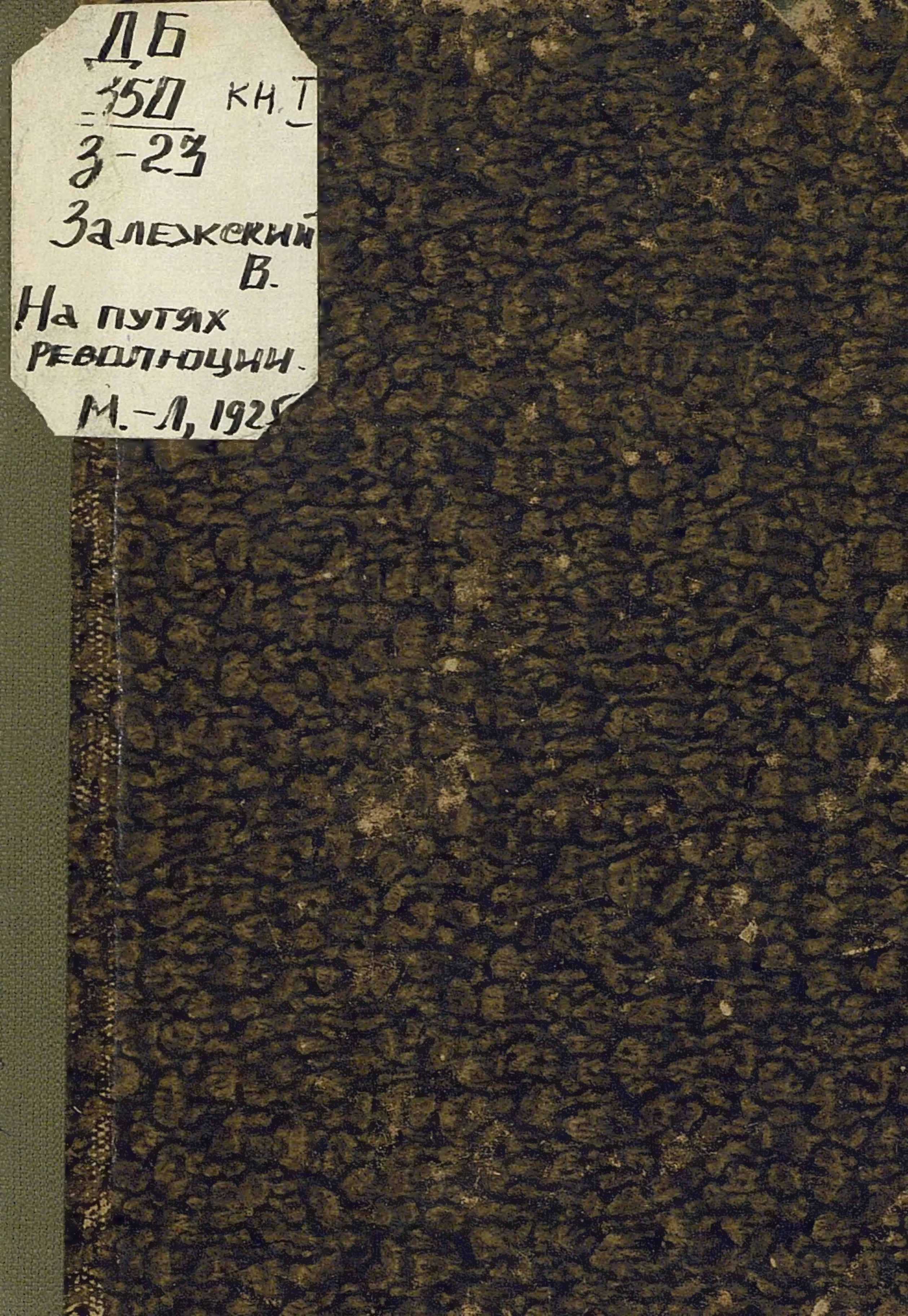
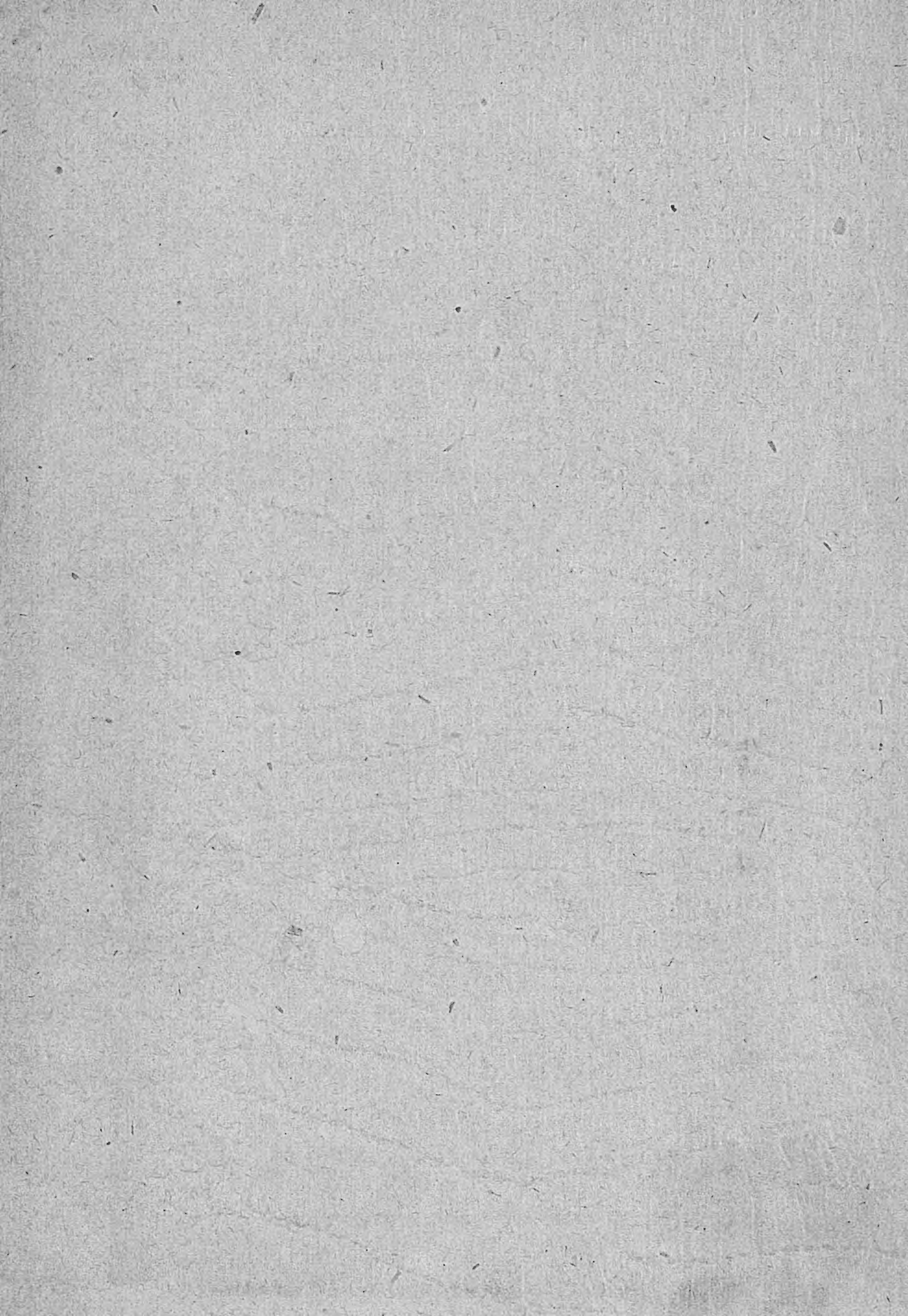


ДБ
350 КН. I
3-23
Залежский
В.
На путях
революции.
М.-Л, 1925







В. ЗАЛЕЖСКИЙ

На путях к Революции

Книга I

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД



ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

В. ЗАЛЕЖСКИЙ

На путях к Революции

(1896—1906 г. г.)

Книга 1-я

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА"
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Ленинградский Гублит № 15128. Тир. 5000 экз.—6 л.

Тип. Изд. Сев.-Зап. Промбюро ВСНХ. Ленинград, Тучкова наб., 2

ГЛАВА I.

Первые шаги. В ученических кружках.

Бывают в жизни человека такие случаи и встречи, которые определяют собою всю последующую жизнь его.

Для меня таким переломным моментом явилась встреча и знакомство с одним из своих сотоварищей по Казанскому реальному училищу—Суровым, в дни зеленой юности, в четвертом классе.

Суров поступил к нам прямо в четвертый класс, кажется, из Сызранского реального училища. Он обратил на себя мое внимание той серьезностью и солидностью, с которой держал себя, не принимая участия в наших полуребяческих школьных озорствах.

Однажды, в одну из перемен, он подходит ко мне и спрашивает:

— Залежский, я слышал, что у вас есть нецензурная книга?

Сначала я изумился, но потом вспомнил, что два дня тому назад я приносил в класс книгу, сейчас уже

не помню какого автора,—«Свет Азии». На заглавном листе ее не было обычной надписи—«Дозволено цензурой». На это кто-то из ребят обратил внимание и сказал, что эта книга—нецензурная. Книжка была самая безобидная, в ней излагалось учение Будды, но мне захотелось, что называется, поважничать перед новичком, и, приняв соответствующий вид, я небрежно бросаю:

— Да, была, но я ее уже отдал.

— Очень жалко, а я заинтересовался. Кстати, о чем в ней говорилось?

Я хотя и слыхал о нецензурных книгах, но представления о них не имел никакого. Я думал, что нецензурная книга должна быть сборником «нецензурных» стихов, анекдотов и рассказов, которых не мало ходило в то время по рукам учащейся молодежи средних учебных заведений и знать которых побольше считалось у нас особым удальством. Не долго думая, я так и охарактеризовал приносимую мною в класс книгу.

— Фу, какая мерзость!—поморщился Суров.—А я думал что-либо порядочное и интересное.

Кровь бросилась мне в лицо от презрительного тона Сурова. Самолюбие мое было задето.

— А разве могут быть какие-нибудь другие нецензурные книги?

— Ну, конечно, разве вы не слыхали, что есть книги, которые говорят, например, что бога нет. Та-

кие книги цензура не пропускает; поэтому, если их печатают, то тайно, без цензуры.

Это для меня было ново. Но в словах Сурова меня поразило не то, что есть другого рода нецензурные книги, а то, что кто-то может писать о том, что нет бога. Эта мысль, которую я услыхал впервые, показалась мне верхом чудовищности и нелепости. Забыв совершенно вопрос о цензурности, я с горячностью напал на эту идею. Дело в том, что мы начали изучать на уроках закона божьего катехизис, положения которого наш училищный священник любил комментировать всякого рода богословскими рассуждениями. Его уроки меня сильно интересовали, ибо ставили передо мною совершенно новые вопросы. А его комментарии казались мне весьма убедительными.

Эту богословскую мудрость нашего попа я и выложил против еретика Сурова. Я пытался припереть его к стене вопросом о том, откуда же взялась земля и первый человек, и т. п.

Суров только усмехнулся.

— Нельзя же быть таким наивным,—сказал он мне.—Поп, может быть, и сам не верит в то, что говорит, но он обязан это делать. Разве вы совершенно незнакомы с естествознанием? Теория Ляйеля хорошо обосновывает научно жизнь земли, теория Лапласа—происхождение солнечной системы, а Дарвин показывает, как происходило развитие животного мира и происхождение человека.

Раздавшийся звонок, зовущий в класс, прервал наш разговор. Я пошел на урок совершенно подавленный и обескураженный. Я ничего не слыхал ни о Ляйеле, ни о Лапласе, ни о Дарвине. Я чувствовал себя подавленным ученостью Сурова. С трудом просидев урок, я в следующую, так наз., «большую перемену» (полчаса) подошел опять к Сурову и попросил его познакомить меня с учениями тех ученых, о которых он мне говорил. Суров охотно согласился, и эти полчаса я внимательно выслушивал его раз'яснения. Помню, что в словах его было много путанного и неясного, и, вероятно, чувствуя это, он предложил заходить к нему домой.

— У меня,—говорил он,—по субботам собирается кружок молодежи, который занимается этими вопросами. У нас вы можете ознакомиться со всем этим более подробно. Нами руководит студент-естественник.

Этот разговор с Суровым я считаю началом своего умственного пробуждения.

Я очень заинтересовался, но сразу на кружок Сурова не пошел, а решил предварительно приготовиться. С этой целью я обратился к попу с просьбой об'яснить мне, что это за учение Дарвина, как произошла солнечная система по Лапласу, и где тут ошибка. Священник выслушал меня как-будто бы с большой радостью и похвалил меня, что я обратился к нему, пригласил придти к нему домой побеседовать, долго

говорил со мной и в заключение снабдил рядом книг. Я с большой страстностью подготовился по богословским сочинениям к предстоящему диспуту в кружке, и, когда почувствовал, что уж достаточно «подкован», пошел к Сурову.

Встретив меня в прихожей, Суров с серьезным и важным видом повел меня в комнату, где собрался кружок. Не без волнения переступил я порог, с интересом вглядываясь в лица 8—9 собравшихся подростков разных учебных заведений. Руководителя-студента в этот раз не было, руководил Суров. Некоторое время я молча наблюдал и прислушивался к разговору, наконец, не выдержал, вступил сам в беседу, а потом увлекся и дал бой, опираясь на приобретенные из книг, данных попом, познания. Но увы, диспут кончился для меня—как я внутренно сам чувствовал—конфузно, и я понял, что надо познакомиться не только с тем, что пишут о Дарвине богословы, но и с самим Дарвиным.

Начинаю читать по естествознанию, налегая параллельно с этим на богословие.

Так продолжалось всю зиму 1895—96 г. Учение я совершенно забросил, в ранце у меня были книги только двух сортов—богословские и естественно-исторические. И те и другие я глотал с утра до поздней ночи. Результат получился таков: по закону божьему я шел настолько великолепно, что поп на меня, бывало, не нарадуется.

— У тебя, Залежский,—говорил он неоднократно,— прямо богословский талант есть, и тебе по окончании училища надо итти в духовную академию, я тебе протекцию окажу.

По остальным же предметам я учился настолько скверно, что был оставлен на второй год в том же классе. Естествознание окончательно «заразило» меня, и к концу года я стал убежденным атеистом, который еле удерживался от смеха при похвалах попа. Тот факт, что меня оставили на второй год, меня даже обрадовал: это давало мне возможность, не убивая времени на экзамены и подготовку к ним, читать, что меня интересует.

Осенью, в начале учебного года, я явился в училище с горячим желанием неофита-атеиста пропагандировать свои взгляды. Держал я себя с чувством собственного достоинства, не вмешиваясь в мальчишескую возню и игры моих новых одноклассников. А после первого урока по закону божьему, как только поп вышел за дверь, я встал на парту и громогласно об'явил классу, что все слова попа—ерунда, бога никакого нет, и мир создан не богом, а развился под действием естественных законов природы, о чем определенно говорят Лаплас, Ляйель и Дарвин.

Это мое выступление было встречено классом весьма шумно: одни просто кричали, что я дурак, другие хохотали, но несколько человек, видимо, сильно заинтересовались моими словами, и скоро вокруг меня обра-

зовался небольшой кружок, в который вошли Бобровский, Воронцов, Шорников, Чижов, Гиндин и другие. Этот кружок под моим руководством занялся изучением естествознания, чему помогала довольно недурная постановка в Казанском реальном училище в то время естественной истории. Мы интересовались, главным образом, астрономией, геологией и дарвинизмом (биологией). Так прошел год.

В пятом классе я столкнулся с литературным кружком, во главе которого стоял ученик Гребенщиков.

Вскоре мой кружок и кружок Гребенщикова слились, при чем предметом наших занятий было критическое изучение классической русской литературы. Пособием к этому служили критики: Белинский, Добролюбов, Писарев, Скабичевский и Михайловский. Кружок, сколько мне помнится, отличался очень большой активностью и редкое собрание не носило характера жарких дискуссий. Уже в этих дискуссиях нам приходилось затрогивать общественные вопросы.

Во время летних каникул я встретился на даче с одним студентом-естественником, который направил мое внимание на необходимость изучения политической экономии и учения Карла Маркса. Имя Маркса я услышал впервые, а о политической экономии хотя и слыхал, но имел представление приблизительно такое, что эта наука годится только для купцов и коммерсантов, учит тому, как лучше «обмеривать и обвешивать».

Хотя за это лето мне и не удалось как следует познакомиться с политической экономией, но из данных студентом книг я ясно увидел свою ошибку в оценке этой науки, а отдельные статьи в марксистских журналах (легальных) того времени, которые давал мне студент, а также беседы с ним, заставили меня проникнуться чувством глубокого уважения к Карлу Марксу.

Осенью занятия нашего кружка возобновились, и я уже определенно старался направить их в сторону изучения политической экономии и учения Маркса. Помню, какое большое впечатление произвел на нас тогда только что появившийся в печати, кажется, в марксистском журнале «Новое Слово», рассказ Чирикова—«Инвалиды». Этот рассказ способен был только закрепить наше пробуждающееся сочувствие к марксизму.

Вскоре появилась в продаже книжка Богданова—«Краткий курс экономической науки», которая сделалась моей любимой настольной книгой—она показала мне жизнь человечества в совершенно новом, неожиданном для меня освещении. Эта книга читалась, перечитывалась и реферировалась в нашем кружке весьма усердно.

Однажды Гребенщиков таинственно сообщил мне, что достал у одного студента конфискованную книгу Бельтова—«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Больших трудов мне стоило

заполучить эту книгу себе домой на три дня. Впечатление она на меня произвела колоссальное. Все три дня я не ходил в класс, читал ее, перечитывал, составлял конспект, делал выписки... Она окончательно сделала меня—в суб'ективном представлении о себе— марксистом, и я со всей страстностью неофита искал народников для дискуссий с ними.

В поисках дискуссий я и еще трое членов нашего кружка, считавших себя марксистами—Бобровский, Шорников и Чижов, познакомились с известной тогда «студенческой» пивной на Рыбнорядской улице — «Конкордией». О ней я подробнее скажу несколько слов ниже. Здесь мы забирались в заднюю комнату, брали бутылку или две пива на троих и выжидающе сидели, выискивая случай вступить в спор с той или иной веселящейся студенческой компанией. Обычно мы начинали петь какую-нибудь из студенческих песен радикального содержания, и этим привлекали к себе внимание некоторых студентов, которые подходили к нам и присоединялись к пению. Так заводилось нами знакомство, а от песен дело очень скоро переходило на спор, что только нам и надо было. И велика была наша радость, когда нам удавалось «посадить в калошу» спорящего с нами студента, а при наших сведениях из Бельтова и Богданова это случалось не так, чтобы уж очень редко...

ГЛАВА II.

Студенческое движение.

В один из февральских дней 1899 года снимавший у нас в семье «комнату со столом» студент Казанского Университета Никифоров пришел к обеду как-то особенно торжественно. Вид у него был таинственный, настроение приподнятое—видно, что в душу человека влилось какое-то новое большое содержание, которое так и прет наружу, и больших усилий стоит ему сдерживать себя.

— Что с вами, Николай Петрович?—спросила моя мать.

— Серьезное дело, скоро узнаете,—таинственно бросил он, и за весь обед не произнес больше ни слова.

Под вечер я отправился к своему товарищу и по дороге на улицах мне также бросилось в глаза странное поведение встречающихся студентов: многие из них быстро бежали по улицам с озабоченными лицами, другие останавливались на тротуарах малень-

кими группами и о чем-то оживленно и вполголоса беседовали, частенько оглядываясь по сторонам. Я невольно сопоставил это с необычным видом Николая Петровича на обеде.

— Володя, ты ничего не знаешь—кажется, что-то произошло важное,—сказал я, войдя в комнату своего товарища по кружку и училищу, Владимира Бобровского,—сегодня студенты в каком-то особенном настроении.

— Я ничего не слыхал,—ответил тот,—пойдем к Чижову, может быть, он что-нибудь знает.

Через несколько минут мы с Бобровским бежим к Чижову, внимательно вглядываясь в физиономии встречных студентов, которые как-то особенно часто попадаются на улицах. Положительно—что-то есть!

Сойдясь втроем, мы решили во что бы то ни стало проникнуть в студенческие тайны, зайдя вечером в упомянутый выше «студенческий клуб» того времени—пивную «Конкордия».

Об этой «Конкордии» стоит сказать несколько слов. В ту пору глухой реакции правительство упорно не признавало студенчества, как коллектив. По университетскому уставу студент был «отдельный посетитель» университета, и никаким обще-студенческим интересам существовать не полагалось. Единственным местом, где студенты могли встречаться друг с другом и вести беседы на общие темы «легально», были пивные, рестораны и прочего рода питейные

места. «Конкордия» и была такой пивной, которая посещалась массой студенчества, куда редко заходил штатский, ибо он сейчас-же брался под подозрение наполнявшей комнаты пивной студенческой массой— «не шпик ли?»,—и под косыми и подозрительными взглядами студентов сконфуженный обыватель торопливо допивал свою бутылку пива и торопился уйти. Если в общем зале еще появлялся иногда одиночка-штатский, то в задних комнатах студенчество могло чувствовать себя уже совершенно свободно. Получался своеобразный студенческий клуб. В задних комнатах велись часто оживленные дискуссии между народниками и марксистами, появлялась иногда нелегальная литература, пелись «запрещенные» студенческие революционные песни и т. п. С этой пивной знакомились и мы, ученики старших классов средних учебных заведений, организованные в кружки самообразования. Нас прельщало здесь не пиво, а возможность послушать дискуссию, попеть революционные песни—и вообще «набраться уму-разуму». У нас там были свои приятели студенты, конечно, из «идейных», они вводили нас в круг своих интересов.

В эту-то «Конкордию» с наступлением вечера мы и отправились. Пивная была битком набита студенчеством. Лица серьезные, пьяных не видно, разговоры ведутся таинственно, вполголоса.

— А, будущие борцы и помощники наши!—приветствовала нас группа знакомых студентов, сидящая

за одним из столиков.—Присаживайтесь-ка и послушайте.

Зараженные нервозностью атмосферы, мы тихо опустились на стулья и стали внимательно слушать. Один из студентов читал вслух прокламацию к студенчеству от «Совета Об'единенных Землячеств», призывавшую студентов к протесту и забастовке. Из нее мы узнали об избиении в Петербурге 8-го февраля студентов университета и о забастовках высших учебных заведений в знак протеста в Петербурге, Москве, Киеве и других университетских городах.

По заслушании прокламации начались оживленные беседы, замелькали незнакомые до сего времени и такие непривычные слова—забастовка, сходка, столкновение с полицией и т. п. Из-за плотно закрытых дверей одной из задних комнат до нас донеслись знакомые звуки знаменитого «Варламия святого». Эта песня так не гармонировала с общим настроением, что мы не удержались, чтобы не заглянуть туда.

Приотворяем дверь и видим группу студентов, которая поет на этот мотив с бумажками в руках новую песню с припевом «Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя, вспомни, как гуляла ты восьмого февраля!» Оказывается, что в старый мотив студенческой «пьяной» песни события 8-го февраля в Петербурге успели уже влить новое содержание. Вместо «Варламия святого» на этот мотив пелась знаменитая в ту эпоху песня «Сон сфинкса».

Полагаю, что эту песню следовало бы сохранить от забвения, а потому привожу ее, насколько помню.

Над Невою рекой,
Молчаливой четой,
Пара сфинксов стоит—
Ухмыляется.
Припев. Нагаечка, нагаечка,
Нагаечка моя,
Вспомни, как гуляла ты
Восьмого февраля!

Фараоны кругом
Всех колотят кнутом,
Пирамидов—прохвост
Отличается.
Припев.

А на тех, кто потом
Недоволен кнутом,
Десять казней зараз
Насылается.
Припев.

Кучи мумий сидят
И дела все вершат,
А в делах лабиринт
Заключается.
Припев.

Как Мемнон, вся печать
Звук один издавать,
Все ура, да ура—
Принуждается.
Припев.

А в стране каждый год
Недород, недород,
А на помощь Папирус
Марается.

Припев.

Так не снова ли я
Уж в Египте, друзья,
Или сон наяву —
Продолжается.

Припев.

Может быть, хронологически эта песня появилась несколько и позже, но у меня эта картинка группы студентов, вполголоса поющих ее по бумажке в задней комнате «Конкордии», прочно ассоциировалась с этим первым вечером, о котором я говорю. Во всяком случае, эта песня возникла непосредственно под впечатлением 8-го февраля. Хотя порожденное этим днем студенческое движение на первой своей стадии носило чисто академический характер и все политические требования студенческих сходок, пожалуй, исчерпывались требованием гласного суда над арестованными студентами и предания суду администрации, по вине которой произошли избиения. Особенно во «Сне сфинкса» доминирует, как видит читатель, чисто политическое настроение.

Обстановка того вечера, о котором я говорю, произвела на нас колоссальное впечатление. Мы были ошеломлены, находились в каком-то приподнятом

угаре, и так не хотелось расходиться в час закрытия пивной.

Улица в тот вечер казалась нам особенно таинственно-тревожной: темно, кое-где слабо мигают керосиновые фонари, и во мраке ночи на противоположном от нас тротуаре молча двигается нам навстречу группа студентов, человек в 30—40. Напряженное состояние искало выхода. Один из моих товарищей не выдержал и громко закричал:

— Браво, студенты!

Мы все захлопали в ладоши. Группа приостановилась и несколько человек, отделившись, подошли к нам. Мы почему-то очень растерялись и сконфузились. Смущенно и сбивчиво мы об'яснили, что мы еще пока реалисты, но очень им сочувствуем. Какими героями они нам тогда казались!..

С этого дня мы всей душой были со студенческим движением: жадно ловили все слухи и сведения о ходе забастовок, зачитывались выпускаемыми воззваниями и прокламациями. «Совет Об'единенных Землячеств» (так, кажется, называлась студенческая центральная организация Казани) вызывал в нас, я бы сказал теперь, какое-то мистическое отношение к нему.

Вскоре вместе с некоторыми из студентов, посетителей «Конкордии», мы занялись перепечатыванием попадавших в наши руки воззваний и песен, которых в то время по рукам ходило колоссальное количество. Студенты, видимо, желали использовать наши квар-

тиры в этом смысле, потому что считали их наиболее «чистыми», менее подверженными опасности провала. И вот, нас научили варить гектографы, достали нам гектографических чернил, и мы принялись за работу. Напечатав что-либо, мы тащили это в «Конкордию» и передавали студентам. Содержания прокламаций я уже теперь не помню; но целый ряд песен и стихотворений до сих пор остался в памяти.

Перебирая сохранившиеся в памяти отрывки ходивших тогда по рукам песен и стихотворений, ясно видишь, что студенчество переживало период своеобразного «экономизма»: на первый план выдвигались академические требования студенчества, т.-е. «узкопрофессиональные» интересы. Даже поскольку они касались вопросов «политической» борьбы, последняя, с одной стороны, обычно не выходила из узких рамок требования академической свободы; а с другой—ограничивалась нападками на полицию, а не на уклад государственной жизни в целом. Весьма популярная, например, песня, подражание Некрасовской—«Укажи мне такую обитель», говорила о том, что «нет такого угла, где-б святых идеалов хранитель, где бы русский студент не стонал».

Однако, «русский студент» стонет не от общего уклада самодержавно-полицейской жизни России, а от академического бесправия:

Стонет он под давленьем устава,
Обреченный на жалкую роль

Представлять человека без права,
Затаивши и горечь и боль.
Стонет он и пред чтением лекций
Жалких лекторов, данных судьбой,
Что по воле начальства, протекций
Забивают наш ум молодой.

Выходит, что если бы был удовлетворительный устав и лектора не «жалкие», то студенту стонать нечего было бы.

Еще интереснее следующее место стихотворения:

Где студент, там и стон. Эх, сердечный,
Что же значит твой стон бесконечный?
Уж пятнадцать лет раздается
Из твоей наболевшей груди
И к престолу монарха несется,
Но туда ведь ему не дойти.

Политическая безграмотность автора стихотворения здесь особенно бросается в глаза—все дело, видите ли, в том, что стон не может дойти до монарха... Тем не менее, автор отвечал господствовавшему тогда в студенческой массе настроению. О той же политической безграмотности говорит и другое стихотворение, тоже в то время широко популярное:

По всему теперь уж свету,
Ну, конечно, по секрету,
Разнеслася весть о том,
Что министры с каждым днем
Начинают опасаться,
Что, быть может, отказаться

Им придется очень просто
От назначенного поста,
Ибо скоро, без сомненья,
Даст Ванновский об'ясненья,
Что причиною всех смут
Был один лишь только кнут.
И вопрос предложит он:
„Кем же кнут изобретен?"
И тогда великолепно
Боголепов—боголепно,
Горемыкин—просто с горя,
И с Ванновским уж не споря,
Клейгельс—также без усилий,
Также ректор наш Василий,
Вместе скажут вчетвером:
„Мы виновны здесь во всем,
В нашем это было праве,
И прибегли мы к облаве".
И в отставку, без сомненья,
Не уйдут без повышенья.

Как известно, широкий размах студенческих беспорядков 1899 года, совершенно неожиданный для правительства, заставил последнее образовать особую комиссию под председательством генерала Ванновского. На эту комиссию студенческая масса наивно возлагала те надежды, которые выразил автор в вышеприведенном стихотворении. Примеров можно было бы привести еще не мало, но и сказанного, я думаю, вполне достаточно для характеристики той студенческой массы, которая тогда «бунтовала».

В студенческих беспорядках конца 90-х и начала 900-х годов бросается в глаза новая их форма по сравнению с характером беспорядков студенчества 60-х—80-х годов: протестуя против академического бесправия, студенчество прибегает к забастовке, т.-е методу борьбы пролетариата, вытекающему из сущности классового положения последнего. Но если забастовка, как метод борьбы за профессиональные интересы, гармонирует со всем укладом производственного положения и деятельности пролетариата, то в применении к студенческой академической борьбе этот метод звучит явным диссонансом. В самом деле: студент—человек учащийся в государственном учебном заведении, платящий за свое право учиться,—вдруг отказывается это делать, не выбывая вместе с тем из университета и по-прежнему платя деньги в университетскую канцелярию «за право учения». Таким образом, с академической точки зрения забастовка студентов—нелепость, она получает свой смысл, как форма политического, а не академического протеста. На первых порах студенческая масса совершенно не понимала этого и только в дальнейшем, так сказать ощупью, студенчество вышло из узких рамок академизма на широкую арену политической борьбы.

Свое политическое воспитание студенчество более или менее закончило к концу 1900—1901 учебного года. Все нарастающее политическое настроение борю-

щихся студенческих масс к началу 1901 года вылилось в форму политических демонстраций, которые в течение марта обошли ряд университетских городов, но об этом ниже.

ГЛАВА III.

Период революционного кустарничества.

1.

Начало студенческих волнений не могло не всколыхнуть и учащихся средних учебных заведений: ребята стали больше задумываться и оглядываться на окружающее. До того времени немногочисленные кружки самообразования начали быстро расти в числе, об'единяя часто довольно большое количество членов. В частности, наш кружок к началу 1899—900 учебного года вырос до 17 человек. Собрания кружка происходили регулярно раз в неделю, на них читались и дискуссировались рефераты, писанные кем-либо из участников на общественные темы.

Но кружок наш был уже обречен...

На одном из очередных собраний кружка я должен был прочесть реферат на тему: «Народники и марксисты о роли личности в истории». К назначенному часу почти все члены кружка собрались, не доставало только одного из ребят, который должен был высту-

пить моим «официальным оппонентом», так как он, в противоположность большинству из нас, считавших себя марксистами, увлекался Михайловским, одним из идейных вождей народничества.

Чтобы не отпирать парадную дверь каждому из приходивших, мы оставили ее открытой. У нас, по юношеской наивности, не явилось и мысли, чтобы мог войти кто-либо из чужих.

Мой оппонент не является. Ровно в 8 часов председатель открывает собрание, я занимаю свое место докладчика за столом, стоящем в углу комнаты. Все мы нетерпеливо ждем опоздавшего...

Скрипнула дверь в прихожей, послышались чьи-то неуверенные шаги, и в приоткрывшуюся дверь нашей комнаты всовывается чья-то голова.

— Вася, что же ты, иди скорее, тебя все ждут,— обращаюсь я к голове.

Голова просовывается дальше, дверь отворяется, и, к нашему изумлению и ужасу, входит «Вася», да не тот: вместо ожидаемого оппонента к нам в комнату явился надзиратель реального училища по кличке «Чувашин», которого ученики в шутку называли также «Василий Иванович». Несколько мгновений среди нас царило растерянное молчание. «Чувашин» быстро делает несколько шагов вперед, подходит к столу и выхватывает из моих рук рукопись моего реферата. Я так растерялся от неожиданности, что позволил ему это сделать беспрепятственно.

— Это что у вас, господа?—прошипел надзиратель.—Занимаетесь запрещенными собраниями. Это будет доложено господину директору.—И не разговаривая с нами дальше, он быстро выбегает из комнаты.

А на другой день мой реферат попадает в руки к директору, с соответствующим докладом.

Директор училища, небезызвестный в Казани, а потом в качестве инспектора университета в Петербурге, Лысцов, придал делу о нашем кружке весьма серьезное значение. Началось расследование, допросы каждого из нас поодиночке. Видимо, кое-кто из членов кружка «каялся» и снабдил директора достаточно правильной «информацией». Дело о кружке замяли, ограничившись наказанием некоторых из его участников карцером, а меня, как руководителя и инициатора, попросили без шума удалиться из училища, что я и сделал, не явившись даже за удостоверением о своем пребывании в училище.

Выход из реального дал мне полную возможность всецело отдаться делу кружковой организации и пропаганды, к которому я уже пристрастился. Из остатков нашего прежнего кружка в лице наиболее близких мне товарищей, которым я безусловно доверял, из учеников среднего технического училища, среди которых было несколько человек наших бывших реалистов, я скоро организовал новый кружок для изучения теории марксизма. К нему же скоро примкнули несколько курсисток. Кружок этот собирался у меня

в комнате или у Бобровского, но скоро на этой почве у меня с отцом вышел очень острый конфликт. Отношения мои с семьей давно уже обострились до крайности. В их глазах я определенно «погибал», а мои взгляды, которые я не находил нужным дома скрывать, вызывали крайнее раздражение. Конфликт из-за собраний был только видимой причиной, заставившей меня уйти из дома и тем окончательно порвать с своей старой жизнью.

Время моего ухода из дома совпало со смертью моего лучшего друга и товарища по кружку—Бобровского; мой уход и его смерть лишили наш кружок технической возможности собираться, и скоро он распался. Члены его разбрелись по другим кружкам. У меня же лично, привыкшего уже выступать в роли организатора, не было никакого желания искать для себя чужой кружок. Учиться в них я уже не хотел, так как меня тянуло к самостоятельной организации.

Учился я дома, обычно по ночам,—привычка, сохранившаяся у меня до сего дня.

Наступившее затишье в кружковой работе я и мой приятель Шорников использовали для штудирования «Капитала» Маркса, который нами был куплен вскладчину. Мы читали его каждый отдельно, а затем сходились и обменивались мнениями. Первый том мы изучали, вероятно, месяца 2—3, он нас очень захватил, но второй нам не понравился, показался скучным, и мы его не осилили.

Почти весь 1900 год не оставил по себе у меня ярких воспоминаний. Обаяние студенческого движения как-то потускнело, интерес к нему начал пропадать и у меня и у Шорникова. Нам казалось, что оно топчется на месте. Старые связи со студенчеством по «Конкордии» порвались и растерялись; там появились новые лица; она начала терять свой характер исключительно студенческий, а вскоре и совсем закрылась. Нам хотелось чего-то другого, другой деятельности.

Я уже упоминал, что под влиянием изучения Маркса мысль моя направлялась к рабочим. Естественно, что от изучения теории марксизма я скоро перешел к знакомству с историей рабочего движения.

Первой книжкой, которую я прочитал по этому вопросу, была «История рабочего движения в Англии» супругов Вебб, в издании Павленкова. Но профессиональное движение меня не захватило, оно казалось мне узким, черезчур «прозаичным», поэтому я более увлекся политическими движениями рабочих масс. Особенно меня заинтересовало чартистское движение, но я не мог тогда найти достаточно литературы по этому вопросу.

К вопросу об исторической роли рабочего класса, к анализу его классовой борьбы, к оценке соотношения между экономическими и политическими формами борьбы и т. п. я в то время мог подойти только с тем теоретическим багажем, который мог почерпнуть

из имеющейся в моем распоряжении марксистской литературы, исключительно легального характера. Связи с подпольными марксистами я не имел никакой, дать соответствующие указания, которые позволили бы мне подойти к решению этих вопросов правильно, мне было некому. Я был, как выражались позднее, «кустарь», и по-кустарному подошел к решению этих вопросов. Естественно, что при общей, более или менее правильной линии, у меня имелся налицо ряд ляпсусов с точки зрения революционного марксизма.

Таких одиночек—«кустарей» в ту эпоху было очень много рассеяно по городам России. Процесс, которым мы доходили до марксизма, в общем и целом у всех нас был одинаков—в значительной степени мы были самоучки, отсюда наши ошибки, слабости и недостатки. Но тем не менее эти «кустари» сделали большое дело—они внесли свою заметную лепту в дело подготовки людских кадров будущей партии.

Жизнь и деятельность таких одиночек—«кустарей» очень мало освещена в нашей литературе, поэтому изложение жизни и деятельности организованной мною группы может представлять интерес для более молодых партийных работников.

Уже давно с борьбой рабочего класса у меня неразрывно ассоциировалась формула Маркса—«классовая борьба есть борьба политическая». Должен сказать в пояснение, что если я и не мог достать таких тру-

дов Маркса и Энгельса, как «Манифест Коммунистической партии», «Нищета философии», «18 Брюмера» и пр., то об их существовании я знал по цитатам и изложениям в книгах и статьях «легальных марксистов», т.-е. писавших в легальных журналах и книгах. Все такие цитаты я старательно выписывал в отдельные тетради с соответствующими заголовками, напр., «Цитаты из манифеста» и т. п. Мысль Маркса в «Нищете философии» о классе «ан-зих» и «фюр-зих», о переходе рабочего класса на известной ступени его исторического развития из класса, как «категории экономической», в «категорию социологическую»—я знал и толковал ее так, что каждой из этих стадий исторической жизни рабочего класса соответствуют и классические формы рабочего движения и организации рабочего класса. И вот первой, низшей стадии, соответствует профессиональная борьба и профсоюзы, а второй, высшей—развернутая форма классовой борьбы, борьба политическая, с политической партией во главе, как организованной формой этого движения. Естественно, что меня—интеллигента—рабочий класс, поскольку я его рассматривал, как суб'екта исторического движения, привлекал больше в этой высшей стадии своего развития.

Читатель видит, что, благодаря недостаточному знакомству с подлинным революционным марксизмом, неискаженным и невыхолощенным «легальностью», я не сумел подойти к правильному пониманию соотно-

шения между политической и профессиональной борьбой рабочего класса, совершенно не понял взаимоотношения между классом и партией, между партией и профсоюзами, а политическую борьбу рабочего класса расценивал не с социал-демократической, а скорее с «интеллигентской» точки зрения: я еще не мог вполне освободиться от идеологии и умонастроения буржуазного радикализма...

Значительно здоровее я решил вопрос о взаимоотношении себя, как интеллигента, и рабочего класса, в чем мне помог одной из своих статей Плеханов; в противоположность народникам, которые смотрели на народ сверху вниз, «жалели» его, как страдающего и несчастного, и шли в качестве «кающихся интеллигентов» служить ему,—мы, марксисты, думал я, должны смотреть на рабочий класс, учитывая его историческую роль в закономерном ходе исторического развития человечества. Наши идеалы социализма совпадают, идеал интеллигента марксиста—это жизненный идеал пролетариата. Поэтому мы для рабочего класса, и рабочий класс для нас—это товарищи, с которыми надо итти вместе, рука об руку, к общему идеалу. Поэтому наша задача—не «служить» рабочему классу, а помочь ему скорее перейти из стадии экономизма в категорию социалистическую. Из этого для нас, как для интеллигентов, вытекала задача—способствовать пробуждению классового самосознания пролетариата во всей его широте.

«Кустари» моего типа, как видит читатель, были чужды идеологии «кустарей» более раннего периода, периода так называемого «экономизма». Психологически мы были более подготовлены к восприятию идей «Искры», группа которой во главе с Лениным и Плехановым в это время только что начала организовываться. Чтобы стать настоящими искровцами, нам надо было только изжить остатки той «интеллигентщины», которая сказалась, например, в моем отношении к профессиональному движению.

Завязывать связи с рабочими я пытался довольно рано. Еще в 1889—900 году, встречаясь в «Конкордии», а иногда и в других местах с отдельными рабочими, я старался с ними сблизиться, сдружиться, старался их опропагандировать.

Заговорить с рабочими и об'единиться с ними за пивным столиком не представляло большого труда. Рабочие охотно, видя, что я интересуюсь их жизнью, приглашали меня распить совместно «пару пива», рассказывали о своем житье-бытье, о порядках в мастерских и на фабриках и т. п. Это давало мне возможность перейти к «экономической» пропаганде. Однако, скоро от вопросов экономического быта я пытался обычно переходить к вопросам политическим. Я старался увлечь их перспективами великой исторической роли в освобождении человечества от уз эксплоатации, которая выпала на долю рабочего класса. Однако, в тех единицах, с которыми мне приходилось сталки-

ваться, я особенного энтузиазма своими рассказами не вызывал. Я чувствовал, что их не увлекаю: никакой систематической работы мне создать не удалось, я не мог организовать ни одного кружка. Встречаясь в пивной, мы приятельствовали, и за бутылкой пива рабочий слушал, часто поддакивал, но на этом дело и кончалось: на мое предложение познакомиться поближе, зайти ко мне на квартиру, рабочий как-то не откликался. Причиной было, конечно, мое неуменье и неопытность заинтересовать рабочего.

2.

Переломным пунктом, заставившим меня более серьезно и внимательно подойти к рабочим, для меня явилась демонстрация 11-го марта 1901 года в Казани и знакомство с первыми номерами «Искры», которые через Лозовского, бывшего тогда вольноопределяющимся в Казани и входившего в один из кружков, близко стоявших к подпольной организации, попали в мои руки.

Казанская демонстрация 11 марта была только одним из звеньев новой тактики студенчества, борьба которого, с легкой руки правительства, к этому времени окончательно уже определилась, как борьба политическая.

Я уже упоминал, что комиссия Ванновского, образованная для расследования беспорядков 8-го февраля

1899 г., возбудила большие надежды среди студенческой массы. Высшие учебные заведения Петербурга начали мало-по-малу открываться. Однако, обнаружившаяся вскоре бесплодность работы этой комиссии и свирепство администрации по отношению к поддержавшим Питер провинциальным высшим учебным заведениям заставили петербургское студенчество возобновить забастовку. В ответ последовали массовые высылки и аресты студентов, а 29 июля 1899 г. были опубликованы временные правила, по которым за «учинения скопом беспорядков» студенты должны были подвергаться «исключениям из университета и отдаче в солдаты, хотя бы они имели льготу по семейному положению, либо по образованию, или не достигли призывного возраста, или же вынули по жребию номер, освобождающий от службы в войсках».

Надо ли говорить, какое возмущение среди студенчества вызвали эти угрозы. Однако, студенчество не допускало и мысли видеть в этих правилах больше, чем простую угрозу, и 1899/900 уч. год начался и протекал спокойно. И вот, при продолжающемся спокойствии среди студенчества, в конце апреля 1900 г. было опубликовано «высочайше учрежденное» 1 марта 1900 г. «Положение о порядке передачи в распоряжение военного начальства воспитанников, увольняемых из высших учебных заведений на основании. . временных правил, а также об отправлении их в войска и несении ими военной службы». Занятое ака-

демическими занятиями и подготовкой к экзаменам студенчество не откликнулось и на этот раз на провокацию правительства. Однако, осенний семестр 900 г. заставил студенчество почувствовать, что «положение», опубликованное весной, далеко не пустая угроза. Дело началось с Киева.

Два студента-аристократа Киевского университета так наз. «белоподкладочники», после изрядного кутежа, отправились к проституткам, у которых, воспользовавшись их сном, украли драгоценности и были пойманы с поличным. Слух об этом привел в страшное возбуждение студенчество. Начались сходки, на которых некоторые ораторы указывали на существующий режим, как на причину, которая лишает студенческую среду морально воздействовать на своих коллег.

За такие «крамольные» речи киевская администрация выслала несколько студентов. Явившиеся на проводы товарищи устроили им сочувственную демонстрацию. Тогда правительство решило, что настал подходящий момент применить свои «правила», и 183 студента Киевского университета были сданы в солдаты. Это сначала ошеломило студентов, и некоторое время они не знали, как реагировать. Они чувствовали, что недостаточно старых способов борьбы с новой политикой правительства, и искали новых.

Почин положило харьковское студенчество. 19 февраля 1901 года в харьковском соборе торжественно происходила панихида по Александре II. Здесь-то подо-

шедшая группа студентов попыталась устроить демонстрацию. Вследствие плохой организации и неподходящего времени (утром) демонстрация не удалась, но эта неудача только разожгла студенчество, и к вечеру, часам к семи, около театрального сквера началась новая студенческая демонстрация. Полиция растерялась, а к демонстрантам - студентам вскоре присоединилась многочисленная гуляющая публика и довольно большое количество рабочих. Демонстрация вышла очень удачной, выражалась она в пении революционных песен и продолжалась несколько часов.

Из Харькова идея демонстрации, как форма политического протеста студенчества, быстро перекинулась сначала в столичные центры, а затем и в провинциальные университетские города. 25 февраля, в воскресенье, большие толпы народа, под предводительством студентов, начали собираться около университета в Москве, а после полудня большая толпа двинулась с пением революционных песен по Никитской к Тверскому бульвару. В толпе было не мало рабочих. Но здесь полиция действовала уже более решительно, чем в Харькове, и вскоре толпа была рассеяна полицией и казаками.

4-го марта была назначена студенчеством Петербурга демонстрация в 12 часов дня на площади около Казанского собора для «публичного заявления протеста против временных правил». Организатором демонстрации был «Организационный комитет студен-

тов Петербургского университета». В назначенный час на площади собралось несколько тысяч человек студентов и интеллигенции, которых полиция подвергла самому беспощадному избиению.

Когда слух о московских и петербургских событиях дошел до Казани, казанское студенчество решило в свою очередь организовать демонстрацию, которая была назначена на 11 марта. Местная социал-демократическая организация, с которой я тогда не имел никаких связей, решила принять в демонстрации участие и выпустила на гектографе прокламацию «к рабочим», в которой призывала их на демонстрацию.

Слухи о готовящейся демонстрации широко распространились среди студенчества и соприкасающихся с ним слоев интеллигенции дня за три. Знакомые при встрече вместо приветствия обменивались фразами:

— Знаете о демонстрации? Пойдете?

Лично я готовился к участию в этой первой в моей жизни демонстрации, как к чему-то грандиозному и великому. В мои руки попал листок «к рабочим» местной социал-демократической организации, и я не сомневался, что, наконец-то, я здесь вплотную столкнусь и познакомлюсь с сознательными рабочими—социал-демократами, которых я так долго и тщетно искал.

Рано утром, хотя демонстрация была назначена в 12 часов, я вышел на улицу и прошел по направлению главной улицы города—Воскресенской, на кото-

рой около церкви, наискосок от полицейского управления, было назначено место сбора. Теперь я бы сказал, что место демонстрации около полицейского управления было выбрано на-диво неудачно; чем руководствовались в данном случае организаторы демонстрации—я не знаю, разве тем, что на этой же улице находился и университет...

Чем ближе я подходил к центральной части города, тем все чаще и чаще на перекрестках улиц попадались так необычные до сего времени в Казани полицейские патрули из трех-четырех городовых с околоточным во главе. Они подозрительно осматривали всех, пока еще немногочисленных прохожих, и, когда я замечал на себе пристальный взгляд того или другого околоточного, я выше поднимал голову, чувствуя себя одним из участников грядущего события.

Чем ближе к Воскресенской, тем больше народу. Вскоре я смешался с потоком людей, спешащих к месту демонстрации. К 11 часам по тротуарам Воскресенской улицы гуляли уже густые толпы учащихся и штатской публики. С жадностью вглядываюсь в лица толпы, ища в ней рабочих, но рабочих около Воскресенской церкви, где толпа на тротуарах особенно густа, не видно. В поиске рабочих я удаляюсь от церкви квартала на полтора в сторону Кремля, откуда, по моим расчетам, должны были итти рабочие Алафузовских заводов и порохового. Вдруг слышу сзади себя пение. Оглядываюсь. На середине улицы, против

церкви, чернеется группа, поющая и машущая руками и шапками. Опрометью бросаюсь по улице обратно к ней.

Но не успел я добежать вместе с несколькими десятками также отставшей публики, как из ворот полицейского управления явилась полиция и солдаты, которые быстро окружили поющую группу цепью.

Цепь, в свою очередь, была окружена нами.

Суетливо бегающий вокруг, кажется, помощник полицмейстера обращался к нам, поющим вне цепи, с любезным призывом: „Господа, вы сочувствуете? Кто сочувствует, пожалуйста, в цепь к своим товарищам.“

Настроение окружающих было настолько возбуждено, что на моих глазах несколько человек добровольно вошли в цепь, и мне стоило большого напряжения воли, чтобы не делать того же, и только сознание, что мне, который должен работать среди рабочих, нельзя так глупо терять свою „политическую благонадежность“, остановило меня.

Хотя полиция к демонстрации подготовилась заранее, но ее неопытность в деле борьбы с демонстрациями в этой первой казанской демонстрации проявилась очень ярко: вместо того, чтобы быстро оттеснить окруженную небольшую кучку демонстрантов (кажется, около полутораста человек) с улицы в большой двор полицейского управления и тем помешать демонстрации достигнуть максимального успеха, в смысле воз-

действия на окружающую толпу, демонстрантов продолжали держать на улице, пожалуй, не меньше часа. Стоя на месте, окруженная группа пропела все имеющиеся в ее репертуаре революционные песни—и „Варшавянку“, и „Марсельезу“, и „Дружно, товарищи, в ногу“, и еще что-то. Все их внимательно выслушали: и полиция, и войска, и народ... Наступило молчание, а демонстрантов все не уводят. Тогда те начали петь все сначала... Таким образом, за удачную демонстрацию нужно было поблагодарить в первую очередь казанскую полицию...

Мартовская демонстрация заставила меня много думать. Прежде всего меня неприятно поразило отсутствие на демонстрации рабочих, хотя, как я уже упоминал, местная социал-демократическая организация выпустила к рабочим воззвание с призывом принять в ней участие. В числе арестованных демонстрантов, сколько мне помнится, рабочих не было ни одного. На мои расспросы по поводу отсутствия рабочих мне раз'яснили, что дамба, соединяющая город с рабочими слободами, была оцеплена полицией, благодаря чему рабочие не могли попасть, но это об'яснение меня мало удовлетворяло: я думал, что если бы у рабочих было действительно желание попасть на демонстрацию, то пробраться они всегда смогли бы, хотя бы поодиночке, хотя бы в небольшом количестве. Полнейшее же отсутствие их в числе демонстрирующих я об'яснял слабым влиянием на них социал-демократической орга-

низации, силу которой до того времени я, видимо, сильно преувеличивал. Мне говорили также, что отдельные рабочие, особенно с завода Крестовникова, и городские, все-же были на улице, но тогда, думал я, если рабочие, пришедшие по зову социал-демократов демонстрировать, были на Воскресенской, то обязанность руководителей социал-демократов, которые решили поддержать студенческую демонстрацию, должна была заключаться в том, чтобы собрать группу новых демонстрантов в другом месте после оцепления первой. Ведь все силы полиции были брошены на окружение первой группы, и если бы на другом конце, хотя бы того же квартала, началась вторая демонстрация,—в руках полиции не оказалось бы резервов для ее подавления, и получилось бы „великолепное замешательство".

Нет, думал я, среди рабочих надо начать усиленно работать.

3.

Вскоре мне пришлось познакомиться с рабочим электро-монтером Иваном Рукавишниковым и с сапожником Яровиковым. Это были развитые, сознательные рабочие, очень революционно настроенные, знакомые уже с идеями социал-демократии, но не имевшие никаких связей с местными эсдеками. С ними-то, после более близкого взаимного знакомства, у нас и зародилась мысль заняться организацией рабочих. Они взяли на себя задачу завязать связи с рабочими,

а я должен был подобрать подходящих работников из интеллигентов.

Почти весь 1901 г. ушел у нас на „предварительные“ работы по организации будущей „рабочей группы“. За это время я привлек к делу студента Фортунатова, семинариста Бряндинского[1]), курсистку Прокофьеву и, в качестве „денежной силы“, завязал связь с некиим И. Белоусовым, отец которого имел москательный магазин. Этот молодой купчик, которого мне горячо рекомендовал его приказчик Назаров, отнесся к моему предложению—помочь нашей работе деньгами—очень сочувственно и согласился давать нам ежемесячно по 25 руб. Кроме того, мне удалось завязать связи среди рабочих позолотной мастерской Тюфилина и столярной—Столыпина. В свою очередь Рукавишников привлек человек 10—12 электро-монтеров из разных мастерских, а Яровиков—сапожников.

Осенью 1901 года все основные элементы для организации группы были налицо, и мы приступили к работе. Вскоре встал вопрос о внутреннем конструировании группы и о ее названии. На одном из организационных собраний активных работников группы, в составе Яровикова, Рукавишникова, рабочего порохового завода Михеева, меня, Фортунатова и Бряндинского, был поставлен вопрос о нашей политической

---

[1]) Бряндинский впоследствии оказался злостным провокатором.

физиономии. Все участники определенно считали себя марксистами, а значит—социал-демократами. С этой стороны никакого сомнения у нас не было, но вот вопрос об официальном названии группы вызвал горячие дебаты. Прежде всего обсуждался вопрос—имеем ли мы право, выступая самостоятельно, вне соглашения с имеющейся уже в Казани социал-демократической организацией, назвать себя «группой социал-демократов». Ряд товарищей не находил это удобным. Затем было выдвинуто такое соображение против наименования себя социал-демократами: нашей задачей является работа среди рабочего массовика, а последнему имя «социал-демократ» непонятно и ничего не говорит. Наоборот, такому массовику должно импонировать более понятное для него название «революционер». Учитывая все это, нами было решено показать свое социал-демократическое лицо в содержании своей работы, а группу назвать «Группа рабочих-революционеров гор. Казани». Под этим названием мы и выступили.

Мы решили не заявлять официально о своем возникновении выпуском каких-либо воззваний за нашей подписью до тех пор, пока группа не окрепнет достаточно и не завяжет более или менее серьезных и широких связей среди рабочих. И первые шаги нашей деятельности были направлены к тому, чтобы покрепче сорганизоваться и создать возможно большее количество кружков среди рабочих,

Группа приступила к деятельности очень энергично. Кроме позолотчиков, столяров, электро-монтеров и сапожников, у нас скоро завязались связи с типографами, от которых в группу вошел наборщик Магницкий. Приблизительно к середине зимы у нас было уже несколько рабочих кружков с общим числом рабочих человек до 30. Во главе кружка столяров встали рабочие мастерской Столыпина — Александр Добронравов и Степан Мешков. Этот кружок об'единял человек 12 — 13. Затем шел кружок электромонтеров человек в 10, во главе с Рукавишниковым. В мастерской Тюфилина организаторами кружка явились рабочие—Алексей Коссов и Шестаков. Во главе кружка типографов встали наборщики—Магницкий, А. Н. Полянский и А. Л. Никитин. Кружок среди сапожников организовался туго. Намечались кружки среди рабочих завода Крестовникова и приказчиков. Во главе первого кружка встал кровельщик Крестовниковского завода Николай Краснов, ученик художественной школы, сам бывший электро-монтер, отец которого работал на Крестовниковском заводе слесарем.

Зимой 1901 г. перед нами встал вопрос о нелегальной литературе для нужд нашей организации. Прочных связей с нелегальной организацией у нас ни у кого не было, и отдельные экземпляры «нелегальщины», если и попадали к нам в руки, то редко и случайно. У нас явилась мысль переиздавать попадавшееся на гектографе. Варку гектографов и всю

техническую часть издательства взял на себя Бряндинский, который еще по нелегальной семинарской ученической организации набил руку в этой области.

Однако, нас скоро выручил случай, доставивший в наше распоряжение большое количество нелегальщины. Дело было так. Несколько месяцев до этого одна из Казанских курсисток предложила Прокофьевой спрятать у себя дома большое количество нелегальной литературы, привезенной кем-то из-за границы. Курсистка эта куда-то исчезла, а за литературой никто не являлся. Я убедил Прокофьеву отдать эту литературу в нашу организацию.

Литературы оказалось не менее пуда. Здесь были издания самых разнообразных направлений — полная мешанина. Главная масса—издания «Аграрно-Социалистической Лиги» социалистов-революционеров. Имя социалистов-революционеров мне тогда ничего не говорило о политической физиономии этой партии и ее социологических основах. Ознакомившись с содержанием брошюр, я увидел, что они предназначены для крестьян и только. О том, что это издание народников, я как-то тогда не подумал: центр тяжести моего внимания был перенесен на то, что это издание нелегальное и революционное. Это тем понятнее, что рядом с изданием «Лиги» имелась в этом же транспорте и социал-демократическая литература. Здесь был журнал Плеханова «Социал-демократ», его же «Социализм и политическая борьба»,

несколько номеров «Рабочего дела» и отдельные номера «Рабочей мысли». Ни «Искры», ни «Зари» не было.

Мы были в восторге, что получили такое богатство нелегальщины, и прежде всего, конечно, сами зарылись на несколько недель в изучение ее. Каждое слово, вышедшее из-под нелегального станка, казалось нам особенно значительным, а так как характер литературы был самый разнообразный, то естественно, что в моей голове получалась путаница. Несчастье наше заключалось в том, что мы были «самоучки», и нам просто не с кем было разобраться критически в идеях, воспринятых из всей этой нелегальщины.

Как бы то ни было, но эту литературу мы начали использовать в нашей работе, а вопрос о переиздании отпал сам собой.

Если литература по рабочему вопросу нами могла быть использована в наших кружках, то наличность большого количества изданий для крестьян наталкивала нас на мысль о работе и среди последних.

Через одного из букинистов, постоянным покупателем которого я состоял, я познакомился с молодым крестьянином села Моркваши, лежащего верстах в 18 от Казани. Он довольно отзывчиво отнесся к моей попытке втянуть его в революционную работу и взял на себя распространение литературы среди крестьян как своей деревни, так и смежных с ней. Однако, это нас не устраивало, и вопрос о работе среди крестьянства продолжал стоять на очереди.

4.

Весной 1902 г. до нас глухо дошли известия о начавшихся аграрных беспорядках на юге. Это крестьянское движение я оценивал с точки зрения идей, положенных в основу статьи тов. Ленина «Пролетариат и Крестьянство» в номере 3 газеты «Искра», который попал как-то в мои руки. Здесь, как известно, развивалась мысль, что в деревне той эпохи имеется наличие социального антагонизма двух типов: с одной стороны — деревенской бедноты и деревенской буржуазии, а с другой—всего крестьянства в целом, как класса, против остатков и пережитков феодализма. Задачей с.-д. в данный момент, говорила статья, является обострить и углубить этот антагонизм. В аграрных беспорядках 1902 г. я и увидел обострение антагонизма второго типа. Отсюда, естественно, у меня родилась мысль использовать имеющиеся у нас издания «Аграрно-Соц.-Лиги» в деревне, попытавшись поднять при ее помощи крестьянство в целом против помещиков...

С бытом и жизнью деревни я был знаком с детства, как сын землевладельца (до 10 лет я жил в деревне безвыездно, а позднее приезжал туда на каникулы), говорить с крестьянами умел, психологию их тоже более или менее знал, а аграрным вопросом интересовался в связи с полемикой 90-х г.г. между легальными марксистами и народниками. Я был зна-

ком и с Николай-оном, и с В. В., и с Кочаровским. С другой стороны, я знал и марксистскую литературу по аграрному вопросу: работы Струве и Туган-Барановского, Гурвича, В. Ильина («Развитие капитализма в России» и др.), Каутского и пр. Естественно поэтому, что я считал себя из всей нашей группы наиболее подготовленным для того, чтобы поработать в деревне лето.

Я понимал, что для продуктивности работы в деревне нужно иметь где-либо базу. В этом смысле я использовал свое знакомство с некоей девицей Викторовой, у которой в Чистопольском уезде, в какой-то из деревень Красноярской волости жили родители-крестьяне. Под моим воздействием она написала домой письмо, что хочет приехать отдохнуть на лето вместе со своим женихом—городским рабочим, и спрашивала—примут ли они нас вдвоем. Те согласились, но писали ей, чтобы она выдала меня за мужа. Так это и было сделано. С запасом литературы «Лиги» я явился с Викторовой к ее родителям, и в течение почти полутора месяцев я пробыл среди крестьян, появляясь в волостях Билярской и Алексеевской в качестве коробейника, ибо, кроме литературы «Лиги», я с собой захватил целый ряд лубочных изданий всякого рода.

В той деревне, где я жил, и в ближайших я литературу не распространял совершенно, и почти никто о ней не знал, за исключением двух-трех из молодежи, в частности брата Викторовой, да и то это

было уже под конец моего пребывания. Появляясь в какой-нибудь отдаленной деревне, я перед входом в деревню нелегальщину оставлял в лесу, а предлагал только легальное. Центр тяжести своего посещения деревни я видел в разговорах и беседах, и только по уходе оттуда я разбрасывал свою литературу на гумнах и других местах, где—я полагал—она может быть найдена скоро крестьянами. В той же деревне, где я жил, и в ближайших к ней я вел пропагандистскую работу, о которой следует сказать несколько слов.

Об'ектом моего воздействия были два слоя деревни: старики и зеленая молодежь. К каждому из этих возрастных слоев я подходил по иному и говорил разное. Старики были всецело «под властью земли». Отличаясь недоверчивостью и подозрительностью ко всякому новому человеку, в частности к горожанину, они делались удивительно доверчивыми, когда вопрос заходил о земле, о чаяниях и ожиданиях, крепко держащихся в той местности, что помещичья земля должна перейти к крестьянам, тем более, что там при черноземной почве и большом количестве помещичьих усадеб крестьяне страдали острым малоземельем, и переселение «на новые места» было развито довольно сильно, об этом многие думали. Конечно, каждый предпочел бы вместо «новых мест» получить прирезку земли здесь, у себя.

Свою задачу, как пропагандиста, в отношении стариков я понимал так: надо было взять уже гото-

вую тягу к помещичьей земле и на этом жизненном, злободневном для крестьянина вопросе разбить в его голове идею «мистического самодержавия», веру в то, что землю сможет мужикам дать царь.

Подходил к этому я довольно осторожно. Прежде всего я постарался завоевать у крестьян-стариков твердый авторитет и доверие к себе, молодому человеку и горожанину. Этого я достигал двумя путями: во-первых, я старался показать, что интересы сельского хозяйства мне знакомы и не чужды, а во-вторых, большую службу в деле укрепления моего авторитета среди стариков сослужило мое знакомство со «священным писанием» — результат моих занятий в отрочестве по религиозным вопросам. Я заметил, что два-три текста из писания, ввернутые в разговор в качестве поговорок, да еще по-славянски, сразу же поднимают во мнении крестьянина-собеседника.

Скоро я начал пользоваться в своей деревне славой начетчика, и тем авторитет мой был завоеван. Бывало, идешь вечером по улице, а старики, сидя на завалинках, зазывают подойти побеседовать. Беседа, конечно, весьма скоро переходила на вопрос о том— «можно ли ждать земли». Схему своей пропаганды я строил так: начинал говорить о министрах, которые окружают царя, и осторожно подчеркивал, что все эти графы, князья и другие—крупные дворяне-помещики, что царь, окруженный ими с детства, мужиков не видит и не знает, что правительство царя—дворян-

ское, а потому от него нечего и ждать помещичьей земли крестьянам, ибо — «ворон ворону глаз не выклюет». Что надо делать крестьянину я не договаривал, но глухо бросал мысль, что крестьянам надо самим брать, а не ждать «царского манифеста». Меня слушали.

Что касается до молодежи, то здесь я никакой аграрной пропаганды не вел. Я старался с ними сблизиться сперва на той почве, которая их интересует. Я хорошо плавал, хорошо нырял, мог долго бегать, легко забраться на дерево и т. п. Парням-подросткам это импонировало. Завоевав с этой стороны себе уважение, я начинал рассказывать им о городской жизни, о фабриках и заводах, красочно расписывал, как плохо в деревне и как хорошо, интересно жить в городе. Одним словом, я здесь производил вербовку среди деревенской молодежи на фабрики и заводы. Так практически проявился в Чистопольском уезде, в деревне, мой марксизм... Параллельно с этим среди молодежи я определенно вел антирелигиозную пропаганду.

Сколько я мог узнать, никакой революционной пропаганды и вообще никакой работы среди крестьянства в этой местности никем не велось. А потому и сельская полиция на мою жизнь и «похождения» не обращала никакого внимания. Я жил без прописки, а в деревнях, где я бывал в качестве офени, хотя я и избегал сталкиваться и вообще попадаться на

глаза полиции, но со старостами, десятскими и прочим полицейско-административным элементом деревни мне сталкиваться приходилось, но никогда никто не спрашивал у меня ни документов, ни разрешения на торговлю. Со старостой той же деревни, где я жил, мы приятельствовали, и он любил со мной поговорить.

Обратил на меня внимание поп, когда он в какой-то большой праздник—не то Ильин день, не то Спас, явился в нашу деревню с молебствием. Мне не понравилось то внимание, с которым он со мной разговаривал, как-то подозрительно выспрашивал и выпытывал... На другой же день я решил по добру-по здорову убраться, что и проделал вполне благополучно... Напоследок я разбросал всю имеющуюся у меня нераспространенную литературу.

В Казань я вернулся в конце августа, ибо в Чистополе задержался «гостить» у одного из семинаристов, члена одного из моих прошлых кружков. Сделал это я, желая разнюхать—нельзя ли завязать для нашей группы каких-либо постоянных связей в Чистополе, среди рабочих мукомольных мельниц. Этого мне сделать не удалось.

5.

С осени 1902 г. мы взялись очень энергично за работу, связи наши среди рабочих росли, и к концу 1902 года работа группы развернулась настолько, что я и Фортунатов не могли уже обслуживать в качестве

лекторов и пропагандистов всех наших кружков. В сущности, пропагандистскую работу вел я один, остальные же члены группы являлись, главным образом, организаторами. Члены-рабочие вели также первоначальную агитацию. Таким образом, перед группой начал вставать остро вопрос о необходимости привлечь к работе новые пропагандистские силы.

Поисками занялся, главным образом, Фортунатов, используя свои связи среди марксистского студенчества. Меня лично наборщики свели с известным в Казани наборщиком Спиридоновым, как известно, уже тогда бывшим провокатором. С ним я вел переговоры, предлагая войти в организацию и взять на себя обслуживание кружков типографов. Мне было крайне ценно привлечь его—рабочего—в качестве руководителя типографскими кружками, ибо его связи среди рабочих типографов позволяли мне надеяться на дальнейшее привлечение в наши ряды типографщиков. Работе среди типографов я придавал очень большое значение, во-первых, потому, что этот слой рабочих был наиболее развит и интеллигентен, а во-вторых, в глубине души я начинал мечтать об организации с их помощью нелегальной типографии...

В поисках пропагандистов Фортунатову пришлось столкнуться непосредственно с членами местной с.-д. организации. Со своей стороны я завязал сношения с ней через Бржезовского, одного из активных руководителей местной с.-д. организации. Как мне, так и Фор,

тунатову было дано понять, что прежде, чем говорить о их работе в наших кружках, мы должны выявить более определенно свое политическое лицо, которое им было неясно: сбивало, во-первых, название группы, а во-вторых, тот факт, что как раз в это время нами была выпущена на гектографе прокламация, кажется, о террористической борьбе, которая была переложением одной из эсеровских прокламаций. Эту прокламацию доставил нам, сколько помнится, Рукавишников, и большинству ядра группы она понравилась, почему и было постановлено ее перепечатать. Вообще вопрос о терроре и его оценке с точки зрения тактики с.-д. и мне лично и всей группе был неясен. Героизм борьбы нас определенно привлекал, вызывал «нутряное» сочувствие. Особенно ярко это проявилось у Рукавишникова. Помню, однажды, он в очень тесном кружке руководителей поднял вопрос о терроре, при чем сам вызвался произвести покушение на казанского губернатора или на полицмейстера. Предложение это долго даже и не обсуждалось: оно было отклонено нами единогласно по тактическим соображениям.

Смутность нашей физиономии я сам чувствовал, а потому предложение местной с.-д. организации—выявить свое политическое лицо было мне весьма на-руку. В конце декабря или в начале января нами было собрано расширенное собрание руководителей группы и представителей кружков, на котором Фортунатов сделал доклад о ходе переговоров с эс-деками и раз-

вил мысль о действительной необходимости определенно сказать—кто мы, и если мы эс-деки, то работать согласованно с местной организацией. Эту мысль я всецело поддержал. После обмена мнений мы еще раз подтвердили, что мы —марксисты, а, следовательно, с.-д. Отсюда вытекало уже два вывода: во-первых, надо было изменить мало чего говорящее название нашей группы, а во-вторых, работать необходимо в контакте с социал-демократической организацией, с которой мы вели переговоры. Группа поручила переговоры продолжать, признать желательным принять название «группы социал-демократов», но не сливаться с имеющейся в Казани с.-д. организацией, а работать на автономных началах. Для того же, чтобы выявить свое лицо фактически, в противовес той прокламации эсеровского толка, которая была нами выпущена, выпустить несколько прокламаций в выдержанном марксистском духе.

Завязавшиеся связи с социал-демократической организацией уже не прерывались до самого провала нашей группы. Фактически в ночь с 20-го на 21-ое января наша группа вошла, как одна из единиц, в с.-д. организацию Казани, ибо в эту ночь нам было предложено принять участие в расклейке прокламаций по улицам Казани о конструировании Казанского Комитета Р. С.-Д. Р. П.

Как сейчас, помню то торжественное душевное состояние, которое испытали мы, руководящий

коллектив нашей группы, когда в один из вечеров явился ко мне один из знакомых студентов и сообщил, что в Казани организовался Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии, что он выпустил извещение о своем конструировании и что нам предлагается сегодня в ночь принять участие в расклейке этих воззваний по улицам и распространить их по тем предприятиям, с которыми наша группа имеет связи.

Мы горячо откликнулись на этот призыв и чувствовали, что родилось что-то большое и важное, что этим предложением Комитета мы входим, как часть, в казанскую, отныне уже централизованную партийную организацию, что период нашего кустарничества пришел к концу... Предложение Комитета—расклеивать по улицам его первую прокламацию—мы сочли для себя большой честью.

С чувством волнения получил я драгоценные прокламации Комитета, отпечатанные на мимиографе. Из наиболее надежных товарищей нашей группы я организовал пять двоек, из которых каждая должна была расклеивать в отведенном для нее районе. Поздно вечером мы рассыпались по улицам Казани, соблюдая такой, выработанный нами самими, метод конспирации: один из нас нес прокламации, предварительно дома смазанные гуммиарабиком, бутылку воды и губку,— его задача была смазать на ходу водой прокламацию на стороне, покрытой гуммиарабиком, и передать ее товарищу, который останавливался и наклеивал ее.

Делалось это для того, чтобы, в случае провала наклейщика, не попали вместе с ним и драгоценные прокламации. Расклеивали мы на фонарных столбах, на заборах, на деревьях скверов и т. п.

К утру, явившись на сборный пункт, мы узнали, что расклейка прошла благополучно и ни одного ареста не было.

Нам, конечно, было не до сна и чуть забрезжило зимнее утро, мы опять рассыпались по городу, желая видеть эффект нашей работы...

Выйдя на улицу, я скоро заметил кучки народу, стоящие около наших прокламаций. Никакой тревоги среди полиции не было заметно, видимо, она еще ничего не знала. Первыми читателями в эти ранние часы были как раз те, для кого в первую очередь прокламация назначалась,—рабочие, спешившие на свои фабрики, заводы и мастерские. Они собирались у «об'явления», как говорили в толпе, и читали прокламацию вслух.

В одном месте я наталкиваюсь на такую сценку.

У прокламации, наклеенной на столбе, стоит большая толпа, один читает вслух. Подходит полицейский и осведомляется, что тут такое. Ему отвечают, что читают об'явление.

Стража порядка деловито справляется,—«а подпись есть?» И увидев, что подписано—«Комитет» и приложена печать, спокойно продолжает свой путь.

Толпа молча и сосредоточенно дожидается, пока фараон удаляется на приличное расстояние, а затем начинаются остроты по его адресу, слышится смех.

Часам к девяти полиция все же поняла, в чем дело, и заметно засуетилась: появились группы фараонов, или архангелов, как говорили в толпе, по два, со старшим или околоточным во главе, задача которых была—розыскивать и сдирать наклеенное.

Толпы уже разгонялись, и тем самым слух о прокламациях широко распространялся по городу и интерес к ним сильно повышался.

Однако, срывать прокламации было не так-то легко, ибо приклеивали мы хорошо, да и зимний мороз много помог нам. И вот, по улицам в эти часы можно было наблюдать сценки: у столба с наклеенной прокламацией городовой обнаженной шашкой соскабливает «крамолу», а на приличном расстоянии стоит полукругом толпа и наблюдает. Сочувствие явно на стороне прокламации.

Весь день проходит в нервно-тревожном настроении в городе. По углам улиц усиленные наряды полиции, и толпа на улицах кажется гуще...

А ночью, как полагается, усиленные обыски и аресты: Комитет ищут...

Тюрьмы мы не боялись, насборот, было как-будто немного совестно перед собой и другими, что ты еще не сидел в тюрьме. И каждый из нас готовился принять в ней посвящение в настоящие революционеры.

Долго ждать этого не пришлось, хотя в этот день наша группа и избежала потерь.

ГЛАВА IV.

Боевое крещение.

Вечером, 17 февраля 1903 года, прибегает ко мне взволнованный Михеев, входивший в центр нашей группы от порохового завода, и сообщает, что сегодня ожидаются обыски, а потому надо всем нам почиститься.

Через час собралось у меня на квартире маленькое совещание руководителей—я, Фортунатов, Бряндинский и Михеев. Встал вопрос о том, куда девать имеющуюся литературу и гектографы, которые только что были сварены, так как мы намеревались к 19 февраля — день освобождения крестьян — выпустить прокламацию, оригинал которой был мной уже написан и лежал у меня в кармане.

После некоторого обмена мнений было принято мое предложение направить гектографы, архив группы, имеющуюся литературу и прочий материал на квартиру одной из знакомых девиц, не имевшей никакого отношения к политике, у которой обычно печатали прокламации.

Туда же было снесено всеми нами со своих квартир все то, что было «нелегального».

Около двух часов ночи, исполнив работу, я спокойно возвратился на свою уже «чистую» квартиру. Около трех часов звонок, обычный ответ—«телеграмма», является полиция. После обыска, при котором ничего предосудительного не найдено, мне предлагают одеваться и захватить с собой «на всякий случай» подушку и одеяло. Выхожу на улицу в сопровождении жандармского унтера, садимся на извозчика и слышу одно слово—«в тюрьму». Всю дорогу оба сосредоточенно молчим.

Вот и тюрьма. Звонок, открывается дверка, идем в контору. Низкая, мрачная, большая комната. Дежурный помощник начальника принимает меня «при пакете». После обыска слышу распоряжение: «отведите его в третье отделение».

Идем какими-то мрачными переходами через ряд запертых дверей, выходим на тюремный двор, в углу которого отгороженное высоким частоколом высится здание третьего отделения. Прежде всего меня поразил его внешний вид: маленький дворик, семнадцать шагов в длину, на окнах висят ящики, совершенно их закрывающие, открыта только верхняя часть ящика, так что из окна виден лишь маленький клочек неба.

Внутри чисто. По коридорам и на лестнице толстый слой войлока. Дежурит надзиратель и жандарм,

оба в валенках, благодаря чему шагов совсем не слышно. Камера маленькая, четыре шага в длину и ширину, в ней койка, стол привинченный, табурет, полочка, умывальник и параша. Пол покрыт толстой цыновкой, так что шагов не слышно.

Когда я остался один и мертвая тишина охватила меня, первое ощущение было—заживо замурованный... Особенно угнетала эта проклятая мертвая тишина. В двери камеры—«волчек»—отверстие под стеклом, величиною с пятак, закрывающееся снаружи. В коридоре дежурит постоянно жандарм и надзиратель; на обоих концах коридора контрольные часы, которые дежурный должен заводить каждые пятнадцать минут. И вот, проходя с одного конца коридора на другой для заводки их, надзиратель заглядывает в камеру каждого заключенного. Мертвая тишина круглые сутки и регулярное через каждые 15 минут заглядывание в очко надзирателя или жандарма, подходивших совершенно неслышно, способны были натянуть нервы до последней степени. И так месяц за месяцем...

День начинался торжественно: в семь часов утра, когда лежишь еще в постели, отворяется дверь и в камеру входят: старший надзиратель, жандарм, уборщик (уголовный арестант) и парашник (тоже уголовный), а в дверях вытягивается дежурный надзиратель. Старший становится у изголовья, жандарм напротив—у стены, и не спускают с тебя глаз. Уборщик подходит к столу, берет лампу и чайник для кипятку, па-

рашник открывает деревянную парашу и берет оттуда ведро. Пока парашник справляется с ведром, уборщик метет камеру, затем все удаляются, не произнеся за все время ни одного слова. Через полчаса вновь отворяется дверь и так же торжественно вносится кипяток и хлеб.

Часов в десять—одиннадцать отворяется дверь, и жандарм докладывает: «пожалуйте на прогулку». Это первая фраза, которую слышишь. Молча одеваюсь, молча иду, в сопровождении жандарма, во дворик и шагаю в течение 20 минут по дорожке. Ровно 17 шагов. Через 20 минут слышу вторую фразу: «пожалуйте в камеру». В 12 часов обед, в 5 часов чай, в 8—ужин. Все подается молча.

Мне говорить совсем не приходилось, только раз в неделю, когда обходил заключенных начальник тюрьмы с вопросом: «не имеете-ли каких-либо заявлений?»—я находил нужным открывать рот. Обычно я заявлений не имел. Раз в месяц приезжал товарищ прокурора.

В тюрьму я пришел, как и полагалось «кустарю», совсем неподготовленным. Я не знал ни тюремной азбуки для перестукивания, ни тюремных порядков, не знал также, как допрашивают и как держать себя на допросах. Теперь мне самому кажется удивительным, как мог я тогда, зная и ожидая ареста, так мало оказаться подготовленным к тюрьме. Может быть, это об'ясняется тем, что «живой—о живом ду-

мает», поглощенный работой я меньше всего думал о том, как сидят в тюрьмах. Так что и приспособляться к одиночке и учиться как держать себя на допросах мне пришлось «своим умом».

На утро первого же дня я принялся за детальное обследование своей одиночки: внимательно оглядел все стены, стол, табурет, кровать и т. п. Видимо, перед моим приходом камера была обстоятельно вычищена от всех следов пребывания моего предшественника—нигде не было видно ни одной надписи... Только на печке в углу я нашел семь крестиков, нацарапанных на кирпичах чем-то твердым. Я решил, что это календарь и крестик означает или неделю, или месяц. Эта находка меня уже как-то оживила и сроднила с неизвестным предшественником...

День на третий после моего ареста неожиданно отворяется дверь и входит приветливо улыбающийся и весьма вежливый товарищ прокурора. Дежурный жандарм и надзиратель скромно остаются за дверью, которую товарищ прокурора плотно закрывает.

— Как себя чувствуете? Нет ли каких заявлений? Я—товарищ прокурора.

На мой вопрос, за что я арестован и почему меня не вызывают на допрос, он весьма предупредительно и словоохотливо об'яснил мне, что допрос будет очень скоро, тогда я и узнаю, в чем меня обвиняют и что, конечно, долго сидеть я, вероятно, не буду.

Товарищ прокурора был настолько мил и любезен, что, по неопытности и наивности, я ему поверил и стал ждать скорого допроса и освобождения, тем более, что у меня ведь «ничего предосудительного не нашли», как было сказано в протоколе обыска. Обдумав картину возможного допроса и восстановив в своей памяти читанное мной и слышанное о допросах, я решил притвориться перед жандармами наивным.

В один из вечеров, когда я уже собирался ложиться спать, с изумлением слышу звук отпираемой камеры. Входит старший надзиратель.

— Собирайтесь на допрос. Оденьтесь. Поедете в жандармское управление.

— Наконец-то!

В конторе сидят два жандарма, с которыми я и выхожу за ворота тюрьмы. Нас дожидается простой извозчик.

Признаюсь, я был немножко как-то обижен: я ожидал увидеть «черную карету», в которых, как нам рассказывали старшие товарищи, возили политических. А тут простой извозчик...

Однако, я скоро утешился. Ночь была тихая, лунная и было так приятно свободно глядеть на знакомые, теперь безлюдные, улицы. Хороша свобода! Хочется выпрыгнуть и броситься бежать, но жандармы, сидя по бокам, зорко следят за тобою.

Приезжаем. Вхожу в кабинет начальника, очень уютно обставленный.

Весьма вежливый жандармский полковник приглашает сесть, предлагает чаю, папиросу.

Отказываюсь. Жду разговора.

Начинает издалека. Я для него человек новый— видимо хочет узнать—что я из себя представляю. Разговор ловко переводит на политические темы.

Я притворяюсь наивным и непонимающим.

После нескольких минут нудной, ничего не говорящей политической болтовни, как-то усыпляюще действующей на сознание, жандарм вдруг спрашивает:

— А скажите, пожалуйста, что вы делали и с кем вы были в вечер перед вашим арестом на квартире у Александры Петровны?

Я вздрогнул от неожиданности. Этого вопроса я меньше всего ожидал.

— Значит, нас выследили! Значит, квартира провалилась! Значит, все взяли!—вихрем завертелось в моей голове.

А жандарм внимательно глядит на мое лицо и с каким-то хищным сладострастием любуется моим смущением и растерянностью.

Сделав над собою большое усилие, я тотчас оправился.

— Что вы мне еще скажете? — спросил я, чтобы выгадать время и собраться с мыслями.

— Вам этого мало? Извольте. Могу сказать, что вы пришли туда в таком-то часу, с такими-то лицами

и снесли туда... Вы, конечно, сами знаете, что вы туда снесли?

Но я уже успел оправиться. Узнав, что квартира открыта, я решил, что наивничать больше уже нечего, тем более, что в квартире Александры Петровны вместе с литературой и гектографами находились рукописи, писанные моей рукой.

— Я, действительно, там был, но один. Все, что вы там нашли, принадлежит лично мне.

— Ну, а «группа рабочих - революционеров», печать которой и прокламации, ею выпущенные, там нашли—это тоже вы один?

Чувствуя, что он припирает меня—что называется—к стене, я начинаю злиться.

— Да, это тоже я один. Я писал эти прокламации и выпускал их. Никакой группы у меня не было.

Тогда жандарм, в упор глядя мне в глаза, бросает:

— Что же, вы провокатор что ли?

Кровь бросилась мне в лицо, явилось безумное желание ударить язвительную рожу жандарма.

— Он имел право так сказать,—промелькнула мысль.—Если группы не было, а я выступал один под ее именем, это, конечно, провокация. Но чорт с ним, с мнением жандарма; да ведь он хорошо знает, что я вру...

Это меня сразу успокоило. Я даже улыбнулся.

— Мне безразлично, как вы об этом думаете. Я повторяю: работал от лица группы я один.

— Ну и сгниете в тюрьме,—любезно заметил он.

Я пожал плечами.

— Ну, я вижу, что вам надо еще немножко посидеть в одиночке и обдумать. Если надумаете дать правильные показания, подайте мне заявление, и я вас вызову.

И вот я опять в тюрьме. Но уже дело для меня значительно выяснилось, я видел, что сидеть придется долго.

Потянулись вновь долгие дни, недели...

Первое время по приходе в камеру я слышал легкие стуки в стену со стороны соседей, но ничего не понимал, и те скоро стук прекратили.

Однажды утром при обычной церемонии с уборкой я обратил внимание на странное поведение парашника-татарина, я уловил странный косой взгляд, брошенный им на меня, тогда как обычно он не обращал на меня никакого внимания. На другой день взгляд повторился.

По уходе парашника, заинтересованный, я решил освидетельствовать ведро параши. На ручке ведра, к своему изумлению, я нахожу записку: она была привязана к ручке и замазана сверху дегтем, чтобы издали не была заметна. С волнением развертываю и читаю:

— «Я—студент Ахтямов. Сижу внизу вас. Предлагаю вам, товарищ, сделать следующее: взять нитку (для этого можете использовать кокосовую мочалку),

привязать к ней скатанную в трубочку записку и спустить ее мне вниз через решетку вашего оконного щита, предварительно постучав мне в пол три раза. Пишите—кто вы, по какому делу сидите и знаете ли вы тюремную азбуку».

Записку эту я помню до сих пор дословно. Она сделала меня в тюрьме зрячим и говорящим. Я уже не чувствовал себя теперь заживо погребенным, одиноким. Каждый вечер мы обменивались записками. Он меня научил тюремной азбуке, от него, главным образом, я узнавал новости, как тюремные, так и с воли.

К осени 1903 года мы сумели уже установить весьма оживленные отношения через уголовных уборщиков и парашников, а также некоторых надзирателей, не только между различными корпусами губернской тюрьмы, но и пересыльной.

Энергии у нас было много, хотелось чем-нибудь выявить ее, хотелось борьбы. Не знаю, у кого зародилась мысль об'явить голодовку-протест против чрезмерного затягивания жандармами дела тех, кто был пойман «с уликами», и требовать немедленного освобождения товарищей, против которых улик, за исключением шпионских показаний, не имелось. На призыв об'явить голодовку с пред'явлением этих требований дружно откликнулись все заключенные, и в начале августа или сентября (точно не помню) каждый из нас подал заявление в жандармерию с вышеперечисленными требованиями и об'явил голо-

довку. На воле была выпущена соответствующая прокламация «к обществу». Мы твердо решили или умереть, или добиться освобождения. Голодовка была об'явлена самая серьезная—«без воды». Последнее значило, что в конце лета (дело было в августе), когда стоят еще довольно жаркие дни, мы отказались не только есть, но и пить. Голодали мы впервые, чем только и можно об'яснить, что мы решились голодать без воды. В результате наш организм после первых же трех дней голодовки был сильно надорван и внешние симптомы действия «безводной» голодовки были ужасные: губы потрескались и при малейшем движении из них шла кровь, язык сделался шершавым и скрипел по небу, когда я шевелил воспаленным ртом; моча почти совершенно прекратилась, и была серьезная опасность заражения всего организма мочевиной и другими продуктами распада, которые не могли в должной мере удаляться из организма.

Голодовка произвела большое впечатление как на власти, так и на «либеральное общество». Этим, вероятно, и надо об'яснить, что уже на четвертый день голодовки к нам явился товарищ прокурора Черман и дал «честное слово», что арестованные без улик будут выпущены, а мы—«уличенные»—будем высланы в соответствующие места до приговора.

Мы победили, но ценой совершенно расшатанного здоровья у многих из нас; в частности, я получил

туберкулез, который на почве крайнего истощения организма начал быстро развиваться.

На этот раз прокуратура и жандармерия свое «честное слово» действительно сдержали. Через несколько дней по окончании голодовки были выпущены несколько человек, арестованных без достаточных улик.

Что же касается нас, севших «с делами», то через месяц—другой началась наша высылка «до приговора» в отдаленные места. Двое из комитетчиков пошли в Якутскую область, а через несколько дней после них пришла и моя очередь. Я получил распоряжение департамента полиции о высылке, «впредь до окончательного решения дела», в виду моей болезни, в Архангельскую губернию. В конце октября я собрался в путь.

Не знаю, как других товарищей, но меня отправили в эту первую мою ссылку весьма «торжественно». К тюрьме явился на паре рысаков, в сопровождении конных городовых, сам помощник полицмейстера. В его коляске, окруженный плотным кольцом городовиков на рысях, окраинными улицами я был перевезен к какой-то церкви. Здесь, в церковной сторожке, я и ожидал часа отхода поезда. Затем меня вывели в поле, версты за три от вокзала, где остановили поезд, чтобы посадить меня.

Как сейчас, помню изумленные лица пассажиров, которые с площадок и из окон вагонов, встревожен-

ные необычной остановкой поезда в поле, наблюдали мою посадку...

Как я узнал позднее, полиция почему-то боялась возможности демонстрации на проводах. Отсюда вся эта смешная торжественность[1]).

Ехал я, конечно, в арестантском вагоне, но на привилегированном положении, ибо в то время политических еще выделяли из общей массы арестантов. Так, мне было разрешено везти с собой деньги, часы, чемодан и т. п. Отношение конвоя было весьма предупредительное.

До Рязани со мною ехал один из соседей по камере, рабочий Алафузовского завода—Ильин. Он был, кажется, выпущен перед высылкой дня на два для «сбора в дорогу». От него я узнал ряд новостей из жизни казанской организации.

С чувством большой радости он передавал, что казанский комитет скоро оправился после разгрома и работа его углубилась и окрепла.

Особенно интересным было известие о том, что при комитете образовалась татарская группа. Большое впечатление на меня произвело сообщение о том, как отнеслись к недавно разбросанным на заводах прокламациям рабочие русские и татары. Рус-

---

[1]) Среди рабочих моих кружков шел разговор о том, что следовало бы пойти проводить меня на вокзал. Получив эти сведения, полиция, очевидно, и решила, что готовится «демонстрация».

ские прокламации были в довольно большом количестве отобраны мастерами у рабочих. Прокламации же на татарском языке в руки мастеров почти не попали: рабочие татары живо их разобрали, и уже никто не возвратил. Они были унесены ими к себе в «Татарскую Слободу».

— Вообще,—говорил Ильин,—рабочие татары приняли прокламацию жадно и обнаружили весьма высокую степень товарищеской солидарности. Работа среди татар, благодаря этому, идет значительно лучше и успешнее, чем среди русских рабочих, несмотря на более низкий культурный уровень первых.

В Рузаевке к нам привели новых политиков. Это была какая-то девица не то из Уральска, не то из Оренбурга, шедшая в Вологодскую губернию, и молодой парень из Пензы, шедший в Олонецкую губернию.

Особенно врезалась мне в память фигура пензяка. Это был юноша лет восемнадцати—девятнадцати, гимназист, с весьма нервным и каким-то серым лицом. Он просидел, кажется, год в одиночке и «надломился».

В то время, как я был полон энергии, смотрел вперед, а пережитая одиночка сразу уже ушла куда-то далеко в прошлое, — он с надрывом и тоской исповедывался нам, что его, еще неокрепшего внутренно, еще без строгого убеждения в нужности «жертвы», кто-то использовал, толкнул на революцию, и вот у него нет сил, а ссылка его пугает.

Позднее, особенно в эпоху реакции после 1905 года, я не мало встречал в тюрьмах таких «размагниченных» революционеров. Это были нравственно мертвые люди, поднявшие груз свыше сил своих и надорвавшиеся. Впечатление они производили всегда весьма тяжелое.

Вопрос о том, кого и когда для революционера допустимо привлекать в ряды революции, встал передо мною здесь, при виде этой нравственной развалины, уже второй раз. Незадолго до моего ареста его поставила в первый раз передо мной жена одного моего школьного товарища.

— Имеете ли вы право звать моего мужа на ваше собрание, когда у него жена, ребенок и ожидается второй?— резко спросила она меня однажды. — Вы знаете, что ему у вас угрожает тюрьма и ссылка, а семья должна будет пропасть. Это безнравственно!

Вопрос этот заставил меня тогда задуматься, но скоро для себя я его разрешил так.

Благо революции, освобождающей человечество от режима эксплоатации человека человеком, революции, с которой, по выражению Энгельса, только и начнется истинно человеческая история,—высший закон для меня и высший нравственный критерий. Подготовка и воспитание революционеров отвечает этому критерию, поэтому я имею полное нравственное право вербовать в наши ряды и молодежь и женатых, об'ективно подводя их под риск провала. Мое же личное оправдание заключается в том, что я от этого

риска также не уклоняюсь. Что же касается горя, страдания и т. п., которые выпадают на долю отдельных индивидов, то это факт об'ективный, меньше всего от нас, революционеров, зависящий. Путь революционеров в царской России—суровый путь, он берет всего человека, и если человек «надломился»—это его беда. По человечеству его, пожалуй, можно пожалеть, но мы обязаны, во имя нашей конечной цели, подходить к людям с другой точки зрения.

Эти соображения я и развивал своему собеседнику, оправдывая тех, кто его послал.

— Вы фанатик и черствый человек,—сказал он мне.

— А вы мягкотелый и слабовольный рефлексик.

Разговор у обоих оставил тяжелое впечатление...

Наконец, Москва. Нас выводят из вагона последними, становят в конце колонны арестантов и, окруженные конвоем с обнаженными шашками, мы медленно двигаемся ранним утром по улицам Москвы в Бутырки.

Смотрю с интересом на древнюю столицу, которую посетил впервые таким немного необычным путем. Видимо, идем по рабочим кварталам, на нас, политиков, резко выделяющихся своим «вольным» платьем среди арестантской толпы, заметно обращают внимание.

Башни Бутырской тюрьмы, где обычно в то время содержались политические, были уже переполнены, и нас поместили в большой камере общего корпуса, где уже сидело немало политических пересыльных.

Это были в большинстве случаев поляки, по партийной принадлежности почти все пепеэсовцы.

С первых же минут прихода в камеру меня неприятно поразила та холодность и какая-то настороженность по отношению к нам, которую проявили пепеэсовцы, особенно когда узнали, что мы эсдеки: холодная вежливость и полное игнорирование твоего присутствия. У меня, интернационалиста, все это как-то не вязалось с представлением о социалистах и товарищах по тюрьме.

Только небольшая группа поляков, державшаяся обособленно от общей массы, встретила нас по-товарищески. Это оказались польские эсдеки, все рабочие, идущие тоже в Архангельскую губернию.

Скоро выяснилось, что нам придется посидеть в Бутырках недели две—три, ибо Волга у Ярославля еще не встала, и этапы поэтому задержались (моста через Волгу тогда еще не было).

Дни потянулись ужасно длинные и нудные, как и всегда в ожидании.

Однажды я начал читать рабочим эсдекам какую-то лекцию. Она, видимо, заинтересовала и многих пепеэсовцев - рабочих: многие из них подходили к нашей группе поближе и прислушивались. Но это сильно не понравилось «вожакам», и они всячески старались отозвать их от нас под тем или иным предлогом.

— Боятся, как бы вы их, рабочих, в эсдеки не соблазнили,—улыбаясь заметил мне один из моих

слушателей, пожилой польский эсдек.—Они своих рабочих не допускают и с нами разговаривать.

Дальнейшее поведение пепеэсовцев также совершенно не вязалось с моим представлением о товариществе. А особенно это ярко проявилось, когда мы получили сообщение из башен, что между прибывшим из Харькова политическим этапом и тюремной администрацией произошло столкновение при приеме, в результате чего один из политических, Вороницын, отправлен в карцер, где открыл голодовку. Нам предлагалось присоединиться к протесту башенников и потребовать выпуска Вороницына из карцера, а в случае отказа —присоединиться к голодовке. Никакого протеста в нашей камере сорганизовать не удалось, ибо все попытки натыкались на сопротивление пепеэсовцев...

ГЛАВА V.

Первая ссылка.

Наконец, настал долгожданный день. Часов в 11 утра входит старший надзиратель и по списку начинает выкликать наши фамилии—собираться на этап.

Итак, мы едем в Архангельск.

Архангельская губерния в то время только-что была открыта для ссылки, здесь ссылки не было с конца 80-х и начала 90-х г.г., за исключением отдельных одиночек. Поэтому, никто из нас ясно не представлял себе условий ссылки; хотя мы и любили распевать известную тогда студенческую песенку, один из куплетов которой гласил:

В дальний путь благополучно
Прокурор нас снарядит...
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит...
Вот Архангельск,
Вот Пинега,
Лишь болота да леса...
Пропадай моя телега,
Все четыре колеса.

Но, как видно из текста, мы были склонны оценивать ссылку не трагически, а юмористически...

В Архангельск мы прибыли дней через десять. Здесь нас уже дожидались «назначения». Я, Вороницын и еще один из товарищей назначаемся отбывать «гласный надзор полиции» в г. Холмогоры, верстах в 70-ти выше Архангельска по Северной Двине.

Я был очень доволен: во-первых, недалеко от Архангельска, а во-вторых, место-то уж больно историческое, шутка ли—родина Ломоносова.

Дня через три мне было предложено, так как со мной следовала жена с ребенком, отправиться в Холмогоры не по этапу, а «на свой счет». Этот «свой счет» значил, что я должен нанимать лошадей, везти на свой счет стражника, который меня сопровождает до места ссылки, и платить ему суточные—кормовые. Это были минусы, но они, конечно, далеко уступали «плюсам», ибо это давало мне возможность сразу же из тюрьмы быть с семьей, чувствовать себя уже полусвободным человеком и быстро достигнуть цели путешествия. И, действительно, на другой день я был уже на месте.

После ряда формальностей в местном полицейском управлении, где меня заставили прочитать, или вернее—расписаться, что читал устав о поднадзорных, из которого я узнал, что мне запрещено заниматься педагогической деятельностью, служить в типографии и проч., и проч., и проч., что я обязан ежедневно

являться в полицию для регистрации, что мне запрещено выходить из города дальше чем на полверсты,— я, наконец, услышал весьма приятную для меня фразу из уст полицейского чиновника:

— Вы свободны; когда найдете квартиру — сообщите нам, где будете жить.

Меня уже давно дожидались два-три человека из старых ссыльных, с которыми я и вышел на крыльцо полицейского дома.

Невеселая картина открылась передо мной. Городишко имел всего 800 жителей, т. е. меньше средней деревни центральной губернии. Расположен на невысоком берегу Северной Двины, на «гряде», вокруг которой тянется тундра, теперь скованная морозом. В самом центре города, где стоит полицейское управление, расстилается обширная площадь, совершенно пустая, которая летом оказывается самым обыкновенным болотом. Сейчас все это было бело и покрыто глубоким снегом. Тоскливое чувство охватило меня, несмотря на радость освобождения.

— И здесь в этом болоте мне придется жить неизвестно сколько времени «до приговора», и неизвестно сколько—после такового. Нет, бежать отсюда, бежать!..

Но бежать пока мне было нельзя. Я уже упоминал, что Архангельская губерния—«до приговора»—досталась мне очень нелегко. Ее я добился в результате голодовки политических в Казанской тюрьме, на почве

которой у меня начался туберкулез в острой форме. Поэтому мне было необходимо некоторое время остаться в ссылке, отдохнуть, поправить свое здоровье, после чего только и можно было думать о побеге.

Местная врачебная комиссия выдала мне соответствующее свидетельство, которое я направил в департамент полиций (там говорилось, что мне вреден север и необходим перевод на юг), а в ожидании ответа начал устраиваться в Холмогорах на жительство. Я снял у одной из местных мещанок небольшую квартирку, кажется, рубля за три в месяц, где и поселился. Скоро я уже, в свою очередь, считался среди ссыльных холмогорским «аборигеном».

В мое время Холмогорская ссылка была невелика— нас всего было человек 12—15 самого разнокалиберного состава. Здесь были и эсдэки, и эсэры и пепеэсовцы, и просто люди неопределенного толка. Естественно, что свой тяготел к своим, и скоро мы, эсдэки, зажили тесной группой в 6—7 человек. Это были: Вороницын, Дубровинский (брат известного Иннокентия), я, две сестры Никитиных, Львова. Около нас также держался рабочий из Таганрога Солдатов, но так как он был хотя и славный парень, но горький пьяница, то особенно мы с ним не дружили. Вторая группа— были эсэры, во главе с супругами Толмачевыми, кажется, из Тамбова. Мы, эсдэки, каждый жили вразбивку,—только у меня была отдельная от хозяев

квартира, остальные же снимали комнаты «от хозяев». Наоборот, эсэры, приехавшие первыми, смогли снять большой, совершенно изолированный дом и жили коммуной, чему мы не мало завидовали. Хотя особенно дружеских отношений у нас с ними не было, но тем не менее мы жили по-товарищески.

Потянулись дни поднадзорной ссылки. Серые дни, нудные, один похожий на другой, как две капли воды.

И странное—на первый взгляд—дело. Нет над тобой недреманного ока мента[1]), нет замка на двери твоей комнаты, можешь свободно выйти из дома, посидеть на берегу Двины, пробежаться на лыжах, пойти к товарищу. Но никогда в тюрьме, в одиночке под замком, я не чувствовал такой щемящей душу тоски, как здесь.

В чем дело? А в том, что здесь по рассчетам правительства должно было происходить выхолащивание души ссыльных революционеров. И 3 — 5-тилетняя ссылка часто делала это весьма успешно. Она убивала революционную энергию тем вынужденным бездельем, на которое мы здесь обрекались, она выхолащивала душу тем, что заставляла революционера, жившего до сих пор широкими политическими идеалами, влачить серенькое мещанское существование.

Где-то шумная жизни река,
Там мечты, там работа, борьба,

[1]) „Мент"—на тюремном жаргоне—надзиратель.

а здесь—тихо, сонно, и густая тина обывательщины начинает налипать на твою душу. Сегодня пошел к товарищу, прочитали газетку, поговорили; завтра попили вместе чайку, поговорили; после-завтра попили чайку, поговорили, погуляли по бережку реки... и так неделя, месяц, год. Все переговорено, все приелись друг другу, времени девать некуда. Даже читать делается, в конце концов, лень, ибо наш брат-революционер того времени и читал-то с определенно практическими целями — так или иначе использовать прочитанное в своей практической работе.

Если ничто внешнее не будило ссылку, то ссылка быстро разлагалась, начинались всякого рода склоки и раздоры, часто такие мелкие, что там в России на живой работе вспоминать их приходилось с краской стыда. Естественно, что из активных революционеров редко кто оставался в ссылке дольше времени, абсолютно необходимого для отдыха, а часто даже бегали, что называется, «с места в карьер», в буквальном смысле—по выходе из полицейского управления на месте прибытия.

Первые месяцы моего пребывания в Холмогорах, борьбы с полицией, этого предохранительного средства от «закисания», у нас не было—полиция не давала достаточных оснований. Нашу ссылку в это время оживляли многолюдные этапы, которые вскоре потянулись по всей Архангельской губернии.

В 1904 г., с началом японской войны, сибирская железнодорожная магистраль была занята всецело работой по перевозке войск, и уже не знаю—по этим ли соображениям или из боязни дурного влияния политических ссыльных на проходящие через Сибирь эшелоны войск,—правительство отменило политическую ссылку в Сибирь; а когда в тюрьмах скопилась большая масса политиков, долженствующих быть направленными туда, было отдано распоряжение направить их в Архангельскую губернию. И вот, каждую неделю мимо Холмогор тянулись большие этапы политических, шедших в такие отдаленные места Архангельской губернии, как Мезень, Карпова гора, Усть-Цыльма, Ижма и др.

Хотя ссылка в Архангельскую губернию и приобрела массовый характер, но шел далеко не массовик: шли, главным образом, профессиональные революционеры как из интеллигентов, так и из рабочих. Естественно, что вопрос о побегах из ссылки имел для них первенствующее значение. Многие из них уже шли в ссылку, имея при себе зашитые в платье деньги, заделанные в подошвы паспорта и т. п., с тем, чтобы немедленно же по освобождении бежать. Однако, условия передвижения в этих отдаленных углах Архангельской губернии были весьма неудобны, благодаря чему целый ряд побегов кончался неудачей, не говоря уже о том, что стоил колоссальных денег. Поэтому каждый из революционеров, желавший бежать, стре-

мился задержаться где-либо по близости, а в частности—у нас, в Холмогорах.

Приход этапа по четвергам был для нас тогда праздником. Несмотря на запрещение удаляться далеко за околицу города, мы все, обычно с раннего утра, отправлялись по направлению к Архангельску, навстречу этапу, и часто встречали его за несколько верст от города. Здесь нам было привольно: конвойные, строгие к политикам в черте города, на глазах у начальства, здесь относились к нам удивительно хорошо, по-товарищески. Мы свободно подходили к арестованным, беседовали с ними, сообщали условия и правила ссылки, а от них получали информацию о том, что делается в России. Очень часто тот или другой из шедших в этапе товарищей, справившись предварительно, кто из нас какой политической партии, заводил с нами разговор об условиях и возможности побега. Обычно, мы таким советовали «заболеть» по прибытии в Холмогоры, тем более, что местный врач либеральничал и относился к нам сочувственно, легко клал заболевшего политика в больницу, отставляя его тем самым от этапа. Больные выхлопатывали себе право отбывать ссылку в Холмогорах, из которых уже не трудно было бежать. Таким путем из Холмогор бежало несколько товарищей. Но чем дальше, тем труднее и труднее удавалось «больному» получить разрешение остаться в Холмогорах, ибо администрация уже знала, чем это пахнет. Обычно «больной» по-

лежит, полежит в больнице (в больнице была особая тюремная камера), да, наконец, бывает принужден «выздороветь» и поехать дальше.

Как ни поздно начинается весна в Архангельской губернии, но все-таки и туда она приходит... Для политиков как идущих в места надзора, так и собирающихся немедленно бежать, весна — самое скверное время года. Начинается распутица, дорога портится, реки разливаются, этапы прекращаются, товарищам приходится ждать в тюрьме, равно как прекращается и всякое сообщение. И это длится многие недели. В один из последних этапов мы встретили тов. Редкозубова, видного тогда партийного работника—эсдэка, который нашей группе заявил, что ему необходимо немедленно же бежать, что он не может заходить вглубь губернии, и наша партийная обязанность помочь ему бежать из Холмогор. Мы прибегли к обычному методу: нажали на доктора и заставили его положить «заболевшего» Редкозубова в больницу, тем самым отставив его от этапа. Вместе с тем губернатору была послана телеграмма с просьбой оставить Редкозубова, в виду болезни, в Холмогорах до открытия навигации, тем более, что уже этапы больше не шли, в виду наступающей распутицы. Ответ губернатора не замедлил: телеграмма гласила, что Редкозубов не может быть оставлен в Холмогорах, а так как сейчас по этапу итти не может, то должен быть заключен в тюрьму до открытия навигации с

тем, чтобы следовать на место своего назначения. Это нас всех страшно возмутило, и устроить Редкозубову побег мы уже считали делом своей революционной чести. Мало того, у нас созрел план демонстративного побега вместе с Редкозубовым.

Между тем, время шло, распутица быстро приближалась, на Двине выступила вода, она почернела—вот-вот надо было ожидать вскрытия. Это заставило нас особенно торопиться с планом подготовления побега. На собрании нашей пятерки был выработан такой план. Редкозубов помещался в больнице в камере для арестованных, у дверей которой стоял караул из местной команды. За побег должен был ответить прежде всего караульный солдат. Значит, надо было так обставить дело, чтобы снять с солдата законную ответственность, ибо мы, политические ссыльные—принципиально избегали нашими побегами подводить под репрессии конвой, дабы не озлобить его против нас. С этой стороны обстоятельства нам как-будто благоприятствовали. В Холмогорах была небольшая караульная команда, человек в 100—120. Начальник команды был весьма гаденький суб'ект. Прежде всего, он старался набрать свою команду из местных архангельцев, оставляя во время призыва у себя, главным образом, тех из новобранцев, которые были побогаче. И вот, за соответствующую мзду он широко практиковал дачу отпусков богатеньким сынкам кулаков, служившим в его команде, так что наличный состав

команды обычно был настолько невелик, что оставшихся совершенно замучивали несением всякого рода караульных обязанностей: как общее правило, вместо положенного по уставу двухчасового дежурства на посту, солдат обычно дежурил четыре, а если стоял в закрытом помещении, то часто и по шести часов. Когда мы узнали, что часовые у камеры Редкозубова стоят обычно по шести часов, мы увидели в этом весьма законное обстоятельство: если солдат на посту заснет, в это время Редкозубов удерет, тем более, что камера обычно не запиралась.

План побега нам рисовался в таком виде: утомленный многочасовым дежурством солдат законно засыпает, Редкозубов выходит из камеры в уборную, где окно без решетки, выдавливает стекло, выходит на задний дворик, перелезает забор, где в условленном месте его ждет один из нас, с которым они идут в заранее приготовленное помещение, где Редкозубов прячется, пережидает два - три дня, пока пройдет первый переполох поисков, а затем мы группой, человека в четыре, удираем. В этом плане наиболее серьезными моментами мы считали первый—солдат должен заснуть, не заперев камеры, и последний—должно было быть хорошее помещение, где бы Редкозубов был в безопасности. На эти два момента и было обращено главное наше внимание. У нас явилась мысль «ускорить» утомление солдата от незаконно продолжительного дежурства путем дачи ему наркотика.

Из местной больницы мы достали хлорал-гидрату, который и должны были подсыпать в водку. Этой водкой в нужное время Редкозубов угощает солдата, и когда тот заснет, будет действовать дальше. Но вот вопрос—сколько надо положить в полбутылку водки хлорал-гидрату, чтобы, во-первых, не было мало, а во-вторых, чтобы не переборщить и не отравить солдата. Никто из нас никакого понятия в медицине не имел. Справились в энциклопедическом словаре о хлорале и о сонной дозе. Там вычитали, что, смотря по организму, — от полутора до трех гран. Но, а кто его знает—какой организм у нашей будущей жертвы: дать минимальную дозу—может не заснуть, дать максимальную—еще, неравен грех, помрет. «Хорошо было бы произвести опыт на своих организмах»,—бросил мысль Вороницын.

— Верно, — подхватили мы,—надо предварительно попробовать на себе.

Особенно эта мысль понравилась младшей Никитиной. Она ни за что не хотела уступить первый опыт кому-либо из нас. На том и порешили, что начнет «пробовать» хлорал она, а в дальнейшем—и мы. Но между собой мы, мужчины, сговорились «обдуть» Никитину и дать ей половину минимальной дозы. Должен сказать, что аптекарских весов у нас не было, а хлорал ведь штука «деликатная», тут с ним нужна точность аптекарская, а не на глаз... Как бы то ни было, но в назначенный день покупаем водки, со-

общаем хозяевам квартиры Никитиных, что у нас будет пирушка, собираемся.

Настроение, помню, было приподнятое и нервно торжественное. На столе рядом с парой бутылок пива и полбутылкой водки стоит склянка с разведенным в спирте хлоралом. То один из нас, то другой пробует эту настойку на язык. Бр-р! Горько, противно! Как же быть?—думаем: ведь если эту штуку влить в водку, то она станет горькой, и солдат непременно заметит, что водка нечистая, а тогда скандал может быть весьма серьезный. Я вспоминаю свои разговоры на этапах с уголовными, «работающими на малинку». «Малинники»—это уголовные, которые обирают свои жертвы именно путем подсыпания в питье того или другого наркотика и, главным образом, именно хлорал-гидрата. Обычно дело происходит так: «малинник», более или менее прилично одетый, выдает себя или за купца, или за коммивояжера, или просто за милого, кутящего парнягу. В качестве такового он подсаживается к кутящей компании «икряных фрайеров» (воровское обозначение богатых обывателей) и где-нибудь, в отдельном кабинете или в соответствующем злачном месте, он подсыпает свой наркотик и, когда собеседники засыпают, обирает всех и скрывается. Они мне говорили, что хлорал надо подмешивать в пиво и что, хотя оно, действительно, делается горче обычного, но все же менее заметно это, чем в водке. Да кроме того, обычно дело

сходит потому, что публика пьет отравленное пиво, уже будучи сильно пьяной, когда вкус притупляется.

Эта моя «информация» нельзя сказать, чтобы способствовала хорошему настроению всех нас. Однако, другого выхода не было. Надо было орудовать именно с хлорал-гидратом, со всей его горечью. Подлили немного в водку—горчит на вкус. Подлили в пиво—то же, но значительно меньше.

— Это пиво может сойти, пожалуй, за не совсем свежее, начавшее уже горчить, — говорит Дубровинский, потягивая из стакана. Что же касается водки, я решительно против примеси хлорала — провалимся.

— Но что же можно сделать иначе? Ведь, пиво уже «прогоркло» даже тогда, когда мы пустили в стакан тов. Дубровинского несколько капель, а попробуйте-ка в одну бутылку пива влить всю дозу—что тогда получится?—говорю я.—Тут уж будет не прогорклость, а чорт знает что!

Все-таки пробуем. Наливаем порцию в водку, а другую в бутылку пива. Ни то, ни другое пить невозможно. Однако, Никитина храбро наливает себе целый стакан хлорал-гидратистого пива и выпивает. Несмотря на сильную горечь, она хочет пить второй стакан, но мы решительно протестуем.

— Довольно, тов. Никитина, ваш организм, ведь, не солдатский, и то, что вы выпили, должно оказать на вас действие. Скоро мы отправим вас на постель.

Воцарилось молчание. Все мы сидим и ждем. Никитина через несколько минут, нам кажется, начинает бледнеть. Мы настораживаем тревожное внимание. Вдруг она поднимает полузакрытое до того момента рукой лицо, в глазах блестит какой-то задорный огонек, и неожиданно для нас заявляет:

— А мне сейчас хочется сбросить со стола скатерть.

Мы все в полном недоумении.

— Как они все смотрят? Какие вы все глупые!— неожиданно произносит она.—Ха-ха-ха!

Мы все растерялись. Уж чего, чего, а такого финала мы не ждали. А Никитина сидит и заливается самым веселым, самым беззаботным смехом. Сестра бросается к ней, начинает уговаривать, предлагает воды; а мы, сконфуженные и растерянные, малодушно удираем из квартиры, шепнув ее сестре, что если окажется что серьезное, пусть немедленно известит, а мы раздобудем врача.

На другой день мы узнали, что такой период веселости у Никитиной продолжался с полчаса, после чего нервы спали, она начала плакать и, наконец, заснула. Оказалось, что хлорал-гидрат, как мы узнали потом, имеет и другую сторону, не только «сонную», но и «веселую». Дело в том, что, как и всякий наркотик, в малой дозе он вызывает под'ем деятельности нервной системы, возбуждение, веселость; в большой же дозе, но еще не смертельной, он действует на

нервную систему угнетающе—и человек засыпает. Никитина, оказывается, выпила только «веселую» дозу. Отсюда и все дальнейшее...

Вот так штука!—разводим мы руками. Ведь, если хлорал-гидрат способен не только усыплять, но и веселить, при чем доза, достаточная для того или другого действия, зависит от индивидуальности данного организма, то где у нас гарантия, что солдат, выпив нашу настойку, приготовленную с соблюдением гарантии возможного отравления, не придет вместо сонного настроения в веселое и не превратит тем самым наш побег в веселый фарс. Это открытие нас страшно обескуражило. Хуже всего было то, что мы не могли обратиться с расспросом ни к кому из медицинского персонала, несмотря на самое хорошее отношение к нам многих из них, ибо это могло служить, в случае удачного побега, весьма серьезной уликой уголовного характера против спрашивавшего.

В конце концов, мы решили дать солдату максимальную, по словарю Брокгауза, порцию, ибо у нормального организма она, ведь, не может вызвать смерть. Ну, а если организм окажется у солдата каким-нибудь исключительным, то это будет тем печальным случаем, от которого в жизни, вообще, не обережешься. Риск есть всегда риск. Здесь же риск идет во имя интересов партийной работы. На этом и успокоились. Через знакомую акушерку достали аптекарские весы, тщательно вымерили дозу.

«На ловца и зверь бежит»: иду я по набережной, заглядываю в окно винно-колониального магазина местного толстосума и в числе выставленных в витрине вин читаю—«полынная водка».

— Чорт возьми! Полынная водка. Ведь, полынь— горькая. Значит, если в эту водку подбавить хлоралу, так ничего заметно не будет.

Сообщаю товарищам. С радостью бежим в магазин, покупаем полынной. Пробуем. Великолепно! Горечь чудесная. Когда мы сюда подбавили свою дозу хлорал-гидрата, дело уж получилось совсем другое.

Итак, первая часть задачи была решена. Редкозубов должен будет «полюбить» полыновку, мы приносим ему ее ежедневно вместе с другой передачей. Он начинает угощать полыновкой — предварительно по рюмочке-другой—своих конвойных.

Теперь вопрос о помещении, где спрятать Редкозубова. Частных обывательских квартир, где бы нам настолько сочувствовали, чтобы согласились укрыть бежавшего из больницы Редкозубова, в Холмогорах не было. Два-три сочувствующих обывателя, водивших с нами компанию, были хорошо известны полиции, и, конечно, обыски должны были быть направлены в первую очередь к нам и к этим сочувствующим. Да и, наконец, в городишке, где всего 800 жителей или немного более сотни домов, вернее— домишек, ведь, ничего не стоит произвести поголовный обыск во всем городе. Значит, надо подыскать

такое помещение, которое бы было недоступно полиции.

Наше внимание остановилось на доме-коммуне, где жили эсэры и одна из членов нашего кружка, эсдэчка Львова. У них в доме был подвал. У нас явилась мысль подкопаться под деревянную стенку этого подвала, сделать подкоп дальше под дом, устроить там маленькую камеру, куда и посадить Редкозубова, завалив и тщательно утрамбовав место подкопа. Конечно, большую камеру не выроешь, вентиляции там не удастся сделать и, вообще, хорошего мало. Но где наш брат не пропадал? Несколько часов, пока пройдет обыск, Редкозубов там выдержать сумеет, а потом мы его выпустим.

Через Львову мы решили обратиться к квартиронанимателям дома, Толмачевым. Эти эсэры, к глубокой нашей радости, согласились помочь нам. Тотчас же мы все отправились в «коммуну», вместе с ее членами спустились в подвал и нашли, что затея, пожалуй, хорошая. Дело в том, что, благодаря болотистой почве, на которой стоят Холмогоры, дома нельзя строить прямо на земле, хотя бы и с фундаментом, благодаря наличности в большой степени подпочвенной воды. Поэтому обычно на месте, где должен быть поставлен дом, вырывают ямы, обкладывают их деревянным тёсом, вбивают в них столбы и на этих столбах ставят дом. Одна из таких ям и был тот погреб, о котором я говорю. Поэтому, если подкопаться под деревянный

сруб, то из погреба можно было вылезти во вторую яму, ведущую дальше, под дом. Когда мы спустились в подвал, то в одном более низком месте, как раз у стены, отделяющей погреб от следующей ямы, стояла лужа подпочвенной воды.

Когда мы вычерпали эту воду и начали подрывать в этом месте стену подвала, работа пошла очень быстро, и скоро образовалось отверстие, достаточно широкое, чтобы можно было пролезть человеку. Желанная для нас яма оказалась под кухней, и пол ее был расположен скатом значительно выше погреба. Там было благодаря этому совершенно сухо. Мы были в восторге. О лучшем помещении для того, чтобы вполне надежно скрыть Редкозубова, трудно было мечтать. Мы решили натаскать туда сена, досок, одеял и вообще теплого платья, провизии и т. п., не забыли даже свечи. После того, как Редкозубов туда влезет, мы думали быстро забросать землей сделанное отверстие, хорошенько умять землю, а сверх, так как тут, как уже упоминал, было самое низкое место погреба, налить воды. Мы не сомневались, что полицейские при обыске, которого, мы прекрасно знали, нам не избежать, в погреб заглянут. Так как там ничего не было, то едва ли у них явится охота спускаться в него, достаточно будет осветить его лампой, тем более, что лестница, ведущая вниз, была основательно поломана; если же туда и спустится один из фараонов, то, конечно, меньше всего у него будет желание лезть в

воду, неизвестно чего ища там. О том же, что у полиции не явится и мысли, что тут засыпан подкоп, мы никто не сомневались. Конечно, кое-какой риск был, но риск минимальный, а в таком деле элемента риска не может не быть вообще.

Таким образом, у нас было подготовлено самое существенное для удачного побега Редкозубова из тюремной камеры больницы. Осталось сделать только уже второстепенные приготовления.

Когда Редкозубову мы сообщили о том, что дело вытанцовывается, он начал обнаруживать большое нетерпение, да и мы понимали, что надо спешить, ибо, с одной стороны, быстро приближалась распутица,—а у нас с Редкозубовым была надежда удрать из Холмогор еще до нее, а с другой, темнота ночи быстро исчезала, с каждым днем приближалось время белых ночей севера, что, конечно, ухудшало шансы побега.

Наконец, был выбран день. В этот день утром мы принесли Редкозубову передачу, в числе которой были газеты, жидкий мед и пол-бутылки полынной водки с хлорал-гидратом. Было условлено, что ровно в двенадцать часов Редкозубов, угостив предварительно солдата водкой и тем усыпив его, выйдет в уборную, намажет газету медом, приложит ее к стеклу окна и выдавит его. Газета, намазанная медом, прикладывалась к стеклу для того, чтобы не было звона раздавливаемого стекла и не летели осколки вниз—стекло должно было не звенеть, а только треснуть, а осколки

остаться на бумаге, приклеившись к ней медом. Вылезя после этого из окна, он должен был перескочить невысокий заборчик и очутиться на задворках больницы—в огороде, где его должен был встретить один из нас и проводить в назначенное для него убежище. Так все было решено часов в двенадцать дня, когда у него был на свидании один из наших товарищей.

Часов в семь мы послали одну из наших девиц в «Коммуну» с извещением, чтобы ждали гостя сегодня ночью, сделав последние приготовления: в видах конспирации мы избегали ходить в «Коммуну» группой и часто, ибо до этого с нашей стороны таких случаев тоже почти не бывало. Мало того, мы пустили слух, в полной уверенности, что он, конечно, дойдет до ушей полиции, что мы с эсэрами поссорились... Каков же был наш ужас и растерянность, когда прибежала бледная и взволнованная Никитина и прерывающимся голосом сообщила, что эсэры струсили и в последний момент решительно отказались впустить в свой дом Редкозубова. Взбешенный Вороницын и, кажется, Дубровинский бросились туда, но, несмотря на все их настояния, угрозы и уговоры, эсэры остались непреклонными.

Положение создавалось прямо-таки кошмарное: известить Редкозубова о предательстве эсэров было уж нельзя, он должен был усыпить солдата, выдавить окно и вылезти, а девать его было некуда... Мы были

в отчаянии. Мысль лихорадочно работала, ища выхода... Вдруг кто-то из нас вспомнил, что упоминавшийся мною выше политический ссыльный Солдатов, от которого мы держались в стороне за его пьянство, живет один в маленькой избушке, стоящей посередине двора (его семья—жена и дочь—только-что уехали на родину).

— Знаете, товарищи, один выход—обратиться к Солдатову. Хотя он и пьяница, но сам по себе парень славный, рабочий и эсдек. Его домишко, вероятно, так же построен над ямой, как и остальные. Если это так, то он, может быть, не откажется выручить товарища в этот весьма критический момент.

Это предложение было единственное, за которое можно было в наших обстоятельствах ухватиться. Немедленно же был командирован Вороницын для переговоров с Солдатовым. Уже начинало смеркаться, когда он пошел туда. Минуты казались нам вечностью. Через полчаса Вороницын возвращается с извещением, что Солдатов согласился. Радости нашей не было конца, но нельзя было терять ни минуты. Время быстро бежало к роковому часу. Захватив с собой топор и небольшой ломик, мы один за другим конспиративно пробрались в домик Солдатова. Домик состоял из маленькой прихожей, кухонки и небольшой комнаты. Пол был простой, дощатый. Надо было прежде всего поднять две или три половицы. Если за ними окажется еще настилка из бревен, как это обычно бывает,

надо было в них прорезать отверстие. Если это нам удастся и если под настилкой действительно окажется яма—мы спасены.

Надо ли говорить, с каким волнением мы приступили к работе. Чтобы поднять половицы, надо было прежде всего отодрать косяк-планку, по краям которой прибиты доски. То ли по нашей неумелости, то ли потому, что мы чересчур нервничали и торопились, но только карниз сорвать цельным нам не удалось—он поломался. Это было большое несчастие, ибо должно было броситься полиции в глаза. Но как-бы то ни было—мы продолжали работу. С большим трудом были подняты две доски пола. Под полом действительно оказалась настилка из тонких бревен. Когда мы вырезали пилой (ручной) чурбашку из одного бревна, то, к нашей бурной радости, перед нами открылось темное отверстие так желанной нами ямы. После этого работа закипела лихорадочно, отверстие в настилке все расширялось и расширялось. Когда отверстие достигло достаточных размеров, один из нас спустился в яму. Она оказалась также, как и под домом «Коммуны», скатом, но увы, почти весь пол ее был покрыт водой и только в одном углу, самом высоком, находилось небольшое сухое пространство, где едва-едва можно было лечь человеку. Это было значительно хуже, чем можно было ожидать; по сравнению с новым помещением яма под «Коммуной» была роскошна. Но выбирать было больше

нечего. Мало того, у нас не было даже возможности натаскать на это единственное полусухое место сена и досок — все это было там заготовлено. Пришлось ограничиться тем, что мы дали Редкозубову наши одеяла и вообще все, что находилось под руками пригодного для подстилки или укрытия.

Между тем, время шло, смотрим на часы—без четверти двенадцать. Один из нас бежит встречать Редкозубова на условленное место: ходьбы туда не больше десяти минут, так что можно было поспеть на место минут за пять до назначенного срока. Товарищ ушёл, а мы занялись последними приготовлениями. Проходит четверть часа, двадцать минут, полчаса—Редкозубова нет. Мы начинаем беспокоиться. Тянутся еще минуты, такие длинные, тягучие... Настроение наше делается ужасным—мы не представляем себе, что все это значит. Наконец, еще один из нас идет на разведку. Время течет еще медленнее. На душе еще тревожней. Особенно начинает нервничать Солдатов.

Пока мы сидели в избе Солдатова и терзались муками неизвестности, там за стенами произошло следующее.

Приблизительно в половине двенадцатого Редкозубов поужинал вместе со своим караульным солдатом и угостил его полынной водочкой. Она солдату очень понравилась, и он выпил охотно всю полбутылку. Проходит некоторое время, солдата клонит ко сну, он ставит ружье в угол, ложится около двери, оста-

вляя ее открытой, шутливо замечает Редкозубову— «смотри, парень, не убеги», и скоро засыпает. Надо ли говорить, что это замечание на нервно взвинченного Редкозубова, как раз собравшегося бежать, должно было подействовать отнюдь не успокоительно...

Когда солдат заснул, время для Редкозубова потекло страшно медленно, часы как бы совершенно остановились. Хотя часы показывали, что с момента засыпания солдата прошло всего 10—15 минут, суб'ективно это время казалось целой вечностью. У Редкозубова начали мелькать опасения: а вдруг солдат проснется, вдруг придет кто-нибудь из больничной администрации и т. п. Не выдержал наш Редкозубов срока и без 10 минут 12 часов пошел в уборную, намазал газету медом, приложил к стеклу и надавил.

— Раздался такой треск,—рассказывал он нам впоследствии,—что мне показалось—он должен быть слышен по всей больнице. Боясь быть застигнутым на месте, я быстро лезу в окно, выскакиваю на дворик, оглядываюсь,—все тихо, никого нет. Быстро подбегаю к забору, вскарабкался на него, перепрыгнул, попал в огород. Где же товарищ, который должен меня встретить? Кругом никого нет. Самочувствие мое было ужасно. Я один, позади меня полуотравленный солдат, выдавленное окно, обратный путь отрезан. Надо итти, но куда?—города я не знаю, не знаю ни одной из квартир ссыльных, да и к тому же в одном пиджаке и без шапки, а время далеко не теплое, кругом белеет

снег. Однако, оставаться здесь нельзя, надо бежать от этого места. Я совершенно без цели иду бродить по городу—куда угодно, только не оставаться здесь... Иду по совершенно пустынным улицам и поглядываю на дома. Везде темно, все спят. Наконец, подхожу к довольно большому дому, в котором светится огонь. Заглядываю в окно и сквозь отверстие в спущенных занавесках вижу кусочек стены, а на ней уголок полки с книгами. Поздно—не спят, есть книги—вероятно, здесь живут политические. Терять мне было нечего, а выиграть я мог многое. Подхожу к окну и стучу. В окне появляется чья-то физиономия, вглядывается и, увидев меня, как-то отшатывается от стекла. Немного погодя, я продолжаю стучать снова. Наконец, хлопает дверь, открывается калитка и из нее показывается, как смерть бледная, физиономия эсэра Толмачева с глазами, остановившимися от ужаса.

— Эт-то вы, товарищ Редкозубов?..

— Да, это я, меня должны были встретить у больницы, но там никого не оказалось, мне деваться некуда, известите моих товарищей, что я здесь.

Хотели того или не хотели господа эсэры, но положение политических ссыльных обязывает, им пришлось впустить к себе Редкозубова до тех пор, пока он не свяжется с нами.

А в это время пришедший без 5 минут 12 часов для встречи Редкозубова к больнице товарищ стоит там и нервничает, а через несколько минут к нему

подходит и другой... Оба стоят и ничего не понимают. Наконец, решают, что один останется дожидаться, а другой вернется к нам и сообщит, что побег, вероятно, Редкозубову не удался. Когда последний шел обратно, он встретил стремглав бежавшую по улице жену Толмачева и от нее узнал, что Редкозубов давно вышел и находится у них. Он немедленно же отправляется обратно, снимает с поста своего приятеля у больницы, который бежит к нам, а сам отправляется к Толмачевым за Редкозубовым.

Проходит несколько минут после прибытия к нам первого товарища и в дверь входит Редкозубов. Так как времени с момента его побега прошло уже немало и побег с минуты на минуту должен был обнаружиться, то мы сейчас же засовываем его в яму и быстро начинаем заделывать пол. Половицы положили обратно, прибили их вновь гвоздями, забили снова карниз, а свежий излом его замазали грязью, чтобы он производил впечатление старого. Замуровав таким образом своего товарища, приведя пол в порядок, мы начали смотреть, как теперь выглядит пол. Нашему настроенному вниманию ясно бросался в глаза излом карниза, но что нас всего больше угнетало, так это то, что вынутые нами половицы уже не легли так плотно, как лежали остальные: когда на них мы вступали, то они явственно начинали зыбиться и слегка поскрипывать. Это нас сильно обескуражило, но сделать уже было ничего нельзя.

Окончив дело, мы быстро разошлись по своим квартирам. Напряжение нервов спало, появилось какое-то безразличие и усталость. Едва успел я уснуть, как меня разбудил сильный стук в дверь. Открываю— передо мной исправник с полицией.

— Сегодня ночью убежал из больницы Редкозубов, разрешите осмотреть вашу квартиру.

Делаю изумленное лицо.—«Пожалуйста».

Потолпившись у меня в квартире, заглянув за печку, под кровать и зачем-то под подушки, полиция вежливо извинилась и ушла. Обыски были у всех нас—но нигде Редкозубова не нашли.

Самый страшный обыск—это, конечно, в квартире Солдатова. Когда полиция пришла к нему, он не мог скрыть свою нервность и беспокойство. Это заставило полицию насторожиться и произвести здесь обыск очень тщательный.

— Я страшно боялся,—рассказывал потом Солдатов,—чем-либо выдать местопребывание Редкозубова. Чувствуя, что полиция заметила мое нервное состояние, мне казалось, что она следит за моим взглядом, я делал мучительные усилия, чтобы не посмотреть на пол, а глаза мои как-то сами тянулись к полу. Мое состояние достигло высшей тревожности, когда я заметил, что исправник стоит как раз на тех досках пола, которые мы вынули, и слегка покачивается на них... В стремлении как-нибудь не выдать местопребывание Редкозубова взглядом, я поднял глаза к потолку.

— Посмотрите-ка на чердаке, — говорит вдруг исправник, схватив мой взгляд.

Полицейский лезет на чердак и начинает там шарить. Внимание полиции от полу было отвлечено.

Весть о побеге Редкозубова, об аресте солдата, которого смена нашла спящим, о предании его суду— страшно взбудоражила местный гарнизон. Солдаты рассыпались по городу и принялись сами за обыски везде, где только можно было предположить, что человек может спрятаться. Облазили все чердаки, сараи, разбросали поленицы дров, перерыли сеновалы, заглядывали в колодцы, в выгребные ямы и. проч. Затем рассыпались по окрестностям города, обшарили стога сена, овражки, кустарники и т. п.

На наше несчастье в эту ночь вскрылась Двина, и Холмогоры оказались со всех сторон окруженными водой.

— Бежать из Холмогор он не мог,—в один голос говорила и полиция и солдаты,—он где-нибудь здесь.— Ну уж,—ругались солдаты,—если поймаем—в куски разорвем.

Обыватели были вполне на стороне солдат и полиции и, в свою очередь, помогали розыскам. Мы оказались окруженными не только моральной атмосферой злобы, недоверия и подозрительности, но и в буквальном смысле каждый наш шаг был взят под надзор всего населения. Как только смеркалось, дома, где мы жили, окружались солдатами и обывателями,

которые и дежурили около наших квартир до утра. А утром ежедневно являлась полиция с обыском.

При этих условиях никто из нас зайти к Солдатову не решался, да и он никуда не показывался. Что делалось у него в квартире, как себя чувствовал Редкозубов в подпольи, мы не знали. Так прошло дня два-три.

Солдатов не выдержал нервного напряжения и запьянствовал. Когда мы увидели его на улице пьяным, это нас страшно обеспокоило. Решили, что необходимо зайти к нему и выяснить положение. Мы чувствовали, что без моральной поддержки Солдатов долго не выдержит. Но как туда пройти, когда полиция и обыватели прекрасно знали, что мы от него держимся в стороне и посещение его квартиры кем-либо из нас могло поэтому дать результаты крайне нежелательные.

В этих критических обстоятельствах мы прибегли к помощи местной акушерки Поповой, пожилой уже женщине, очень нам сочувствовавшей. Пришлось посвятить ее в дело и предложить зайти к Солдатову и все разузнать.

Принесенные ею сведения были очень неутешительны: Солдатов донервничался до галлюцинаций, пьет без просыпа, плачет; а Редкозубов, сидя уже три дня в сыром подпольи, простудился и начал кашлять. Его кашель, который явственно слышен в квартире, приводит Солдатова в бешенство. Путем

перестукивания Редкозубов сообщил, что он уже теряет последние силы. Он совершенно закоченел.

Надо было принимать какие-то героические меры. На совещании нашей группы было решено днем выпускать из подвала Редкозубова часа на два, чтобы дать ему хоть немного придти в себя, и немедленно же организовать дальнейший побег. Так как Двина вскрылась и главная масса льда прошла, мы решили отправиться в Архангельск на лодке. Но где взять лодку? Хотя на берегу лежало их очень много, но все они требовали ремонта, конопатки и осмоления. Да и кто дал бы нам лодку добровольно! Если взять у кого-либо «покататься», что в другое время, конечно, было бы сделать легко, то сейчас это не так просто: должно было броситься в глаза, что мы собираемся ехать «кататься» на неосмоленной лодке.

Помочь нам в этом деле взялась та же Попова. Попова жила с сестрой в своем доме, это были дочери умершего благочинного. У них была своя лодка. И вот она поручила своему дворнику начать смолить и конопатить свою лодку. Когда лодка была готова, мы решили бежать.

План побега был таков. Днем сестры Никитины, Вороницын и Дубровинский двумя парочками отправляются на лодке, на глазах у полиции и обывателей, на пикник на ту сторону реки и дожидаются там до вечера. С наступлением темноты Редкозубов

переодевается в женское платье и вместе со мной под-ручку, в качестве моей дамы, идет на условленное место за город, за полверсты ниже Холмогор, куда в 12 часов ночи пристает наша лодка, мы все садимся на нее и едем.

Смеркается. Я сижу у себя на квартире и жду. Легкий стук в окно на улицу—и вижу силуэты двух женщин—Попову и переодетого Редкозубова. Из последнего получилась колоссальная бабища, страшно высокая, широкоплечая, с весьма угловатыми движениями и неловкой походкой. Тем не менее, нежно склонившись друг к другу, при чем моя дама конфузливо куталась от любопытных взглядов в шаль, мы отправляемся к условленному месту. Придя туда, сели на бугорок на берегу и ждем. Время идет к 12-ти, вот-вот под'едет лодка. Пробило 12, лодки нет. Проходит полчаса, час—лодки не видно. Начинаем беспокоиться. Время идет и идет, начинает брезжить рассвет, а лодки нет, как нет... Положение становилось прямо отчаянным. Вернуться обратно нельзя. Солдатов сказал определенно, что он больше ни за что не примет; оставаться на берегу—но уже занимается заря; отойти от берега и спрятаться где-либо нельзя—кругом вода, болота. Наконец, совсем рассвело и маскарад Редкозубова бросался в глаза, а снизу уже появляются лодки из ближайших деревень, спешащие на базар в Холмогоры (на наше несчастье день оказался базарным).

Когда мы уже окончательно отчаялись в спасении, видим, что снизу поднимается бичевой наша лодка. Через несколько минут перед нами предстали грязные, мокрые товарищи. Оказалось, что переехали они на ту сторону реки очень быстро и хорошо, прождали там спокойно до темноты и собрались ехать к назначенному месту, но попали в сильный водоворот, из котораго никак не могли выбраться—лодку заворачивало сильной струей течения, возвращало на старое место. В стремлении выбраться из водоворота товарищи налегли на весла и сломали одно из них. Запасных весел у них не было, и лодка уже вполне стала игрушкой водоворота. Целых два часа бились они, гребя одним веслом и оторванными со дна досками. После колоссальных усилий им удалось, наконец, выбраться из водоворота значительно ниже Холмогор, так что пристали они к нашему берегу верст на 5 ниже, чем надо было. Подниматься на веслах нечего было и думать, можно было итти только бичевой, но веревок с собой они не захватили. Пришлось нашим девицам снять свои нижние юбки и рубашки,—то же сделали со своим бельем и мужчины—разорвать это на полоски, из которых свили веревку, чтобы тащить лодку. Никитины сидели на лодке, а Дубровинский с Вороницыным тянули ее по берегу на этом своеобразном канате. Берег все время прерывался овражками, превратившимися в бурные потоки, которые товарищам пришлось переходить или по горло в воде, или

даже вплавь. В довершение лодка начала немного течь.

Как бы то ни было, но радость наша была неописуема—лодка, наконец-то, все же налицо. Никитиных мы отправили домой, а сами сели в лодку и отдались стихии. Бурное течение подхватило нас и понесло, грести почти не надо было, только править. Холмогоры быстро начали исчезать из глаз. Чем ниже мы спускались, тем шире и шире становилась Двина. Поднялся легкий ветер, по необ'ятной шири разливающейся реки забегали волны, лодка запрыгала. Ветер начал крепчать, по Двине забегали белые барашки, лодку начало захлестывать. Один из нас сидел на руле, двое на веслах (из которых одно было грубо сделанный «самотес» из доски), а четвертый принужден был все время вычерпывать воду. Через некоторое время мы заметили, что наша лодка, почти не просмоленная и плохо законопаченная, дала течь в нескольких местах. Чем дальше, тем все больше и больше набиралось в лодку воды, вычерпывать не успевали. Скоро нам стало ясно, что наша лодка выбывает из строя—необходимо было выброситься на берег... Вдали на берегу показалась какая-то избушка. Сюда мы и решили высадиться и попытаться с помощью живущих в ней хотя бы немного починить лодку.

Пристали мы, оказывается, около какой-то сторожки. К нам подошел пожилой крестьянин, кото-

рому мы и об'яснили, что наша лодка дала течь и мы его просим помочь нам ее проконопатить. Он посмотрел на нас очень недоверчиво. Ему показалось в высшей степени странно, что четверо «господ» (по платью и по всему обличью) едут куда-то в такую бурную погоду по разлившейся реке в утлой лодченке. Он нас пригласил зайти в деревню—которая оказалась скрытой за холмом в нескольких десятках саженей отсюда. Делать было нечего, ехать дальше мы не могли, отказаться итти в деревню, значило бы возбудить против себя совершенно нежелательное подозрение и организовать за собою погоню со стороны сельских властей. Решили действовать на ура. После краткого совещания между собой мы решили назвать себя членами комиссии по обследованию берегов Двины, степени их размыва в половодье, что делало понятным наше путешествие в лодке.

Вот и деревня. Заходим в первую попавшуюся избу, здороваемся, заказываем самовар, просим принести себе водки—вообще стараемся вести себя, как заправские «господа-чиновники», несмотря на всю грязь наших костюмов. Весть о нашем прибытии живо разнеслась по деревне, и к нашей избе потянулся народ. Каждый входил, здоровался и не спускал с нас глаз. Скоро приходит десятский и начинает косвенно выпытывать, кто мы и что мы. Нашему авторитету много помогли две вещи: во-первых, у Вороницына была на себе охотничья тужурка с зелеными отворо-

тами—она великолепно сошла за форменную чиновничью земельного ведомства; во-вторых, с нами был бинокль, штука, совершенно неизвестная полудикарям-крестьянам, возбудившая в них большое удивление и почтение, особенно когда мы стали с большой важностью разбирать его и протирать каждое стеклышко в отдельности. Разговор у нас с десятским и другими крестьянами носил приблизительно следующий характер:

— Как же это вы, господа, на такой лодке пустились в путь? Откуда изволите путь держать?

— Мы члены комиссии по обследованию берегов Двины. Что у вас во время половодья берега здорово подмывает?

— Да уж что и говорить, чисто наказание божие. На старом месте вся деревня обвалилась, вот тапериче на новое место перенеслись.

— Ну, вот губернатор узнал об этом, что мужикам большое утеснение от реки весной бывает, и послал нас обследовать, где и как надо берег укрепить, чтобы деревню не подмывало.

Нас слушали с наивным удивлением и дивовались нашей храбрости, что мы не боимся «обследовать» на такой посудине, как наша злосчастная лодка. Пришедшие с осмотра лодки крестьяне заявили, что лодку починить скоро нельзя, а что нам советуют ехать прямо на лошадях в Архангельск. Это нам меньше всего улыбалось.

— Нет, дядя, это нам не подойдет, мы должны все берега обсмотреть; если нельзя починить лодку сейчас, то мы вам ее оставим и пришлем за ней через недельку, а сейчас вы отвезите нас на баркасе.

Между тем, погода все более и более разыгрывалась. Ветер крепчал, по Двине пошли чудовищные волны. При этих условиях желающих вести нас на баркасе не оказалось.

Тогда мы решили сломить сопротивление крестьян «угощением». Послали еще за водкой, что называется «загуляли», и начали подносить стаканчик за стаканчиком крестьянам. Особенно мы обратили внимание на хозяина дома, у которого был большой баркас и трое взрослых сыновей. После изрядного количества «подношений» натура крестьянская размякла. Мы видим, что дедушка становится разговорчивее. Кончилось тем, что, выпив приблизительно около четверти водки, хозяин согласился со своими сыновьями свезти нас на баркасе до Архангельска, сколько помнится— за 25 рублей. Хотя цена была явно несуразно дорога по тем местам, но, оговариваясь, что нам нужно срочно ехать и что деньги платим мы казенные, мы согласились. Часа в четыре дня мы сели на баркас с пятью полупьяными мужиками и отправились. По дороге мы поддерживали настроение крестьян захваченной с собой водкой, и часов в 10—11 вечера уже под'езжали к Архангельску.

В заключение—последний курьезный эпизод. Когда мы причалили к берегу, мы живо выскочили из лодки и почти бегом полезли вверх по берегу.

— Барин, барин,—вдруг слышим крик с лодки,— а что же вы вещи-то забыли?

Оглядываемся и видим, что один из крестьян держит в руках женское одеяние Редкозубова—грязную юбку, кофточку и шаль.

— Ну вот что, дядя, возьми это себе на память и передай своей бабе,—бросили мы ему в ответ, продолжая карабкаться на берег.

Скоро мы скрылись во мраке ночи.

ГЛАВА VI.

Работа в Архангельске. Арест.

Из Архангельска я лично дальше не побежал, ибо мне сейчас же здесь подвернулась партийная работа в местном комитете партии. Как читатель знает, я до сих пор по своей революционной работе был «кустарь» и, только начиная с Бутырской тюрьмы, я столкнулся впервые близко с профессиональными революционерами-партийцами, людьми со строго теоретически-выдержанным марксистским миросозерцанием и богатой опытом практикой революционной борьбы. Во главе Архангельского комитета стоял ряд таких товарищей.

Чувствуя необходимость закончить свое воспитание, как революционера-марксиста, я скоро понял, что именно здесь, в Архангельске, работа в местной организации и позволит мне пройти необходимую школу подготовки выдержанного профессионального партийного работника. Эти соображения и помешали мне бежать дальше. Меня интересовала также воз-

можность по Архангельской колонии ссыльных познакомиться со всем калейдоскопом партий, групп и течений, оппозиционных или определенно враждебных царской России.

А здесь было чего посмотреть и на чем поучиться! Колония в Архангельске насчитывала в то время человек 120. Громадное большинство ее состояло просто из оппозиционных элементов «общества». Здесь были, например: уфимские земцы, Пашковский, Гудзь и др., Стахевич, впоследствии октябрист, доктор Мартынов—либерал, прославился своим открытым письмом к Плеве, за что и попал в Архангельск, старший врач Севастопольской больницы Никонов, адвокат Переверзев—министр юстиции при Керенском, приват-доцент Петербургского университета М. Ю. Гольдштейн и т. д. Это все был народ умный и интересный, как собеседник, но вместе с тем в них так полно отражался российский либерализм со всеми его характерными сторонами. Но рядом с людьми этого типа здесь имелся и ряд выдержанных эсдеков-профессионалов. Были также и эсэры.

На одной из главных улиц Архангельска у политических был свой открытый клуб, на существование которого губернская администрация смотрела сквозь пальцы, ибо во главе его стоял Гольдштейн и еще несколько ссыльных не из нашего брата—крамольников, а из «почтенных» людей «общества». В этом

клубе и сходились все разношерстные элементы ссылки. Клуб был интересен. Наряду со всевозможными рефератами и дискуссиями часто ставились музыкально-вокальные концерты и т. п. Имелась недурная библиотека, выписывались все газеты и журналы, гуляла по рукам нелегальная литература всех партий и направлений. Если присоединить сюда недурной буфет, организованный этими же элементами «общества», то смело можно повторить еще раз—здесь жилось недурно!

Наш брат, эсдек, правда, посещал его не особенно уж часто. Мы предпочитали проводить вечера в менее шумном и веселом обществе—в рабочих кварталах, где и вели партийную работу среди многочисленных рабочих лесных заводов, порта и других промышленных предприятий Архангельска. Два-три таких рабочих кружка были и у меня. Кроме того, я занялся организацией кружков среди учащейся молодежи, в них я готовил молодежь к пропагандистской работе. Но главная работа, которую я исполнял особенно охотно, было распространение по рабочим кварталам комитетской литературы. Вместе с двумя молодыми рабочими, тоже ссыльными, мы образовали техническую тройку, которая и поставила расклейку литературы по улицам на довольно приличную высоту. В этой работе мне нравилось то переживание, которое ей обычно сопутствует, в виду ее большой опасности в смысле возможности провала. В этом влечении к

риску сказывалась, конечно, прежде всего моя молодость, избыток энергии.

Работа политических ссыльных социал-демократов среди архангельского пролетариата, образование Архангельского комитета партии, во главе которого стояли в то время Шевелкин, Поддубный, Тарутин, не могло не обратить внимания администрации. Естественно, что последняя в своих поисках комитета обратила внимание на ссыльных эсдеков. У последних начали производить ряд обысков, правда, безрезультатных. Не добившись поимки с поличным, администрация решила очистить Архангельск от эсдеков. Большинство последних было оставлено в Архангельске на основании свидетельства врачей—по болезни, временно. И вот начинается давление—«кончать скорее курс лечения» — и выехать. Наши, конечно, сопротивляются...

На почве раздражения, вызванного постоянными обысками, часто без соблюдения «законных» формальностей, имел место ряд инцидентов. Положение обострилось после весьма нашумевшего в Архангельске побега из тюрьмы «важного преступника»—транспортера О. К. (Искровского).

Как история провала этого товарища, так и его побег не лишены интереса. Как мне передавали, дело было так. Через Архангельскую таможню идет из Норвегии партия селедок в бочках. Получатель является за товаром. Вскрыли один боченок—сельди,

вскрыли другой---то же. Партию начинают грузить на подводы. На грех один из боченков срывается с телеги, падает на землю, разбивается, и глазам изумленных таможенных чиновников представляется содержимое последнего: здесь, вместо селедок, оказывается нелегальная литература, которая была заделана между двойным дном боченка...

Подобный казус в архангельской таможне был впервые. Получателя, конечно, арестовали и впредь до получения директив из центра, посадили в архангельскую тюрьму.

В городе много говорили об этом. Сочувствие «общественного мнения» либеральствующих архангельских обывателей было настолько сильно, что им заразилась и тюремная администрация. Арестованному был предоставлен ряд льгот. Камера его, обычно, не запиралась и даже больше: начальник тюрьмы решил использовать попавшую к нему «интеллигентную силу» и предложил ему заниматься в конторе тюрьмы, уж не знаю, по какому предмету. Тот согласился.

Вскоре товарищ стал «своим человеком» в тюремной конторе, который мог приходить туда в часы занятий, когда хочет, и заниматься без надзора за собой.

Однажды товарищ приходит в контору работать. С приближением обеденного времени администрация отправляется по квартирам «закусить», и погруженный в «спешную» работу товарищ остается один.

Дело было летнее. Окна конторы, выходившие в узкий переулок между зданием конторы и тюремной стеной, были открыты, решетки в окнах не было. Пока администрация обедала, товарищ вылез в окно, захватив с собою венский стул и лежавшую зачем-то под столом веревку. Привязав веревку к ручке стула, он перекинул последний через стену, стул зацепился за выступ, образуемый железной крышей ската стены, что дало возможность товарищу взобраться на стену и... исчезнуть.

Шум этот побег произвел колоссальный. Полиция, жандармерия бросились искать его прежде всего по квартирам ссыльных. Начались повальные обыски. Тогда ссыльные решили всячески протестовать. Наиболее интересной формой протеста был протест одного из ссыльных эсдеков, некоего Экка. Когда к последнему явилась полиция, он потребовал ордера на право обыска; так как поднадзорные могли быть по уставу о ссыльных обысканы полицией и без соблюдения формальности пред'явления ордера, то полиция в этом требовании ему отказала. Тогда Экк бросается к окну, разбивает его и, высунувшись на улицу, начинает кричать истошным голосом:

—Караул!.. Ратуйте, люди добрые!

Голос у Экка был здоровый. Скоро к его квартире начала стекаться толпа. Полиция была так сконфужена и растерялась, что поспешила поскорее убраться, не докончив обыска.

Над «караулом» Экка мы все не мало смеялись.

Комитета полиция не нашла, ей удалось только разгромить один из партийных кружков учащихся, организаторы которого две местные гимназистки Ольга Урпина и «Анка» Постникова и были арестованы.

Между тем, работа организации шла своим чередом. Осенью 1904 г., после убийства Плеве, с одной стороны, и военных неудач японской войны, с другой,— в правительственных сферах началась «весна». Назначенный вместо Плеве министр внутренних дел Святополк-Мирский провозгласил наступление «эпохи доверия» со стороны правительства «обществу», и один за другим из канцелярий всевозможных департаментов покатились «либеральные» акты: была дана частичная амнистия ссыльным, смягчена цензура, а из Шлиссельбургской крепости было освобождено несколько человек, заживо погребенных там и уцелевших еще борцов партии «Народной Воли». В частности, была освобождена В. Н. Фигнер, которая должна была прибыть к нам в Архангельскую губернию в ссылку.

Когда мы получили об этом известие, то была выпущена прокламация, приуроченная к приезду Фигнер. Эту прокламацию взялась расклеить по городу наша тройка.

Часов в семь-восемь вечера, нагруженные прокламациями, мы, поделив между собою город, отправились

на расклейку и разброску их, назначив местом сбора одну из кофеен центральной части города.

Свою часть прокламаций я благополучно распространил часам к девяти вечера. Довольно много из них я развесил на заборах и телеграфных столбах, прикрепляя их кнопками. Осталось у меня на руках штук 25, которые я решил раздать учащимся на другой день утром, когда те пойдут в гимназию.

Подходя к месту нашего сбора, я из предосторожности сунул сверток этих прокламаций в сугроб снега, чтобы войти в кафе «чистым». В кафе я нашел уже одного из товарищей, а вскоре подошел и третий. Все было хорошо. Все трое справились со своею задачей удачно.

Настроение, помню, было у всех прекрасное. На радостях, обмениваясь впечатлениями, мы и не заметили, как досидели до 11 часов,—часа закрытия кафе. Когда мы вышли на улицу, я, в полной уверенности в отсутствии всякой опасности, вынимаю из сугроба сверток своих прокламаций с тем, чтобы спрятать их в снег поближе к гимназии, куда я намеревался подойти рано утром.

Но судьба решила иное. Часов в 10 вечера расклеенные прокламации были обнаружены полицией. Последняя донесла полицмейстеру, что они были расклеены «только что проходившими ссыльными». Это было неверно,—как уже сказано, они расклеивались

нами значительно раньше, но тем не менее полиция случайно, что называется, «попала в цель»...

Архангельск—город особенный. Обыватель ходит по улицам приблизительно часов до 10, после чего улицы пустеют. Получив известие, что ссыльные ходят по городу и расклеивают прокламации, полицмейстер, в сопровождении наряда полиции, бросился искать по пустынным уже улицам «крамольников». Как на грех, полицейская свора натыкается на нас троих, спокойно идущих домой.

Не успели мы сообразить—в чем дело, как нас окружила полиция и, посадив на извозчиков, повезла в полицейское управление. А у меня в кармане сверток! Всю дорогу я зорко слежу—нельзя ли его незаметно выбросить, но сидящий около меня околоточный не спускает с меня глаз—выбросить невозможно.

Наконец, мы под'езжаем к полицейскому управлению, стоящему на площади, занесенной снегом. Полицмейстер и остальная орава полиции входят в управление первыми, за ними идут мои товарищи. Я немного задерживаюсь, слезая с извозчика, затем иду к крыльцу, и совершенно неожиданно для сопровождавшего меня полицейского отталкиваю его и бросаюсь бежать по площади, увязая в снегу.

Растерявшийся было полицейский бросается за мной. Я имел целью не столько бежать от полицейского, сколько выбросить прокламации. Как сейчас

помню, свистки оставшихся городовиков и тяжелое дыхание догонявшего меня полицейского. Тем не менее, прокламации выбросить мне удалось. Пробежавши еще несколько шагов, я остановился сам, ибо видел, что скрыться невозможно. Конечно, полиция меня сгрудила и почти на руках внесла в полицейское управление.

— Так что, ваше высокоблагородие, этот человек чуть не убёг—насилу поймали,—докладывает полицмейстеру запыхавшийся городовик.

— Ага, так-то! А что он ничего не выбросил?

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— Никифоров, возьми-ка фонарь и посмотри по следам, не выброшено ли чего. Обыскать их.

Никифоров с фонарем уходит, а нас начинают обыскивать. Лезут ко мне в один карман—ничего. В другой—и, к моему ужасу, вместе с платком, портсигаром и спичками полицейский вытаскивает коробочку с кнопками, которыми я прекреплял к столбам прокламации.

Улика налицо. На мое счастье полиция искала прокламации, а не коробочку с кнопками. Обыскивающий меня полицейский не обратил сразу никакого внимания и положил ее вместе с портсигаром и платком на стол, при чем платок прикрыл коробочку.

Этим обстоятельством я не преминул воспользоваться. Вызывающим тоном я обращаюсь к полицмейстеру.

— Подайте мне носовой платок!

Полицмейстер отвечает раздраженно:

— Это еще что такое? Можете взять сами.

Этого только мне и надо было. Я подхожу к столу, беру платок, а вместе с ним захватываю и кнопки. Улика исчезла у меня в кармане.

В это время возвращается Никифоров и несет мой злополучный сверток. Это производит сенсацию. Но я не сдаюсь. Я требую занести в протокол категорическое заявление поймавшего меня полицейского, что во время бега я ничего не выбрасывал. А при каких обстоятельствах и где этот сверток взят Никифоровым, не только мне, но и полицмейстеру неизвестно.

— Господин полицмейстер, если вы хотите считать этот сверток выброшенным мною, то вы должны были обставить это дело более законно—я должен был пойти на поиски вместе с полицией, а то ведь он мог быть «найден» и в другом месте.

— Ну, это уже дело суда разобраться. Вы арестованы. Запереть их.

Так создалось у меня дело о «распространении преступных воззваний», по которому я впоследствии и должен был предстать перед московской судебной палатой.

Дня через два нас переводят в тюрьму и рассаживают по одиночкам.

Не успела за мной закрыться дверь одиночки, как кто-то стучит в стену, вызывает на разговор. Помню,

мне страшно не хотелось в тот момент, когда еще не улеглось у меня возбуждение, связанное с таким досадным провалом и переездом в тюрьму, вести тюремные разговоры. Хотелось немножко осмотреться и сосредоточиться.

Но сосед зовет все настойчивее.

Раздраженный подхожу к стене и сухо спрашиваю:

— Кто?

— Фигнер.

Я растерялся от неожиданности. Меньше всего я предполагал, что моим соседом по камере может оказаться В. Н. Фигнер, та самая, которую мы так ждали и прокламации о приезде которой я распространял...

Итак, это она! Та самая, которая 20 лет была замурована в казематах Шлиссельбурга. Что ей сказать? Как передать через стену сухим стуком те чувства, которые меня сейчас охватили...

А Вера Николаевна вновь стучит ко мне и, как мне кажется, уже нервничая на мое молчание.

— Я—Фигнер Вера.

Уж я не помню, что я ей ответил, как ее приветствовал, так я был взволнован.

Скоро меня перевели в другую камеру. В. Н. Фигнер я больше уже никогда не встречал. Я ее даже ни разу не видел, но описанный момент «встречи» с ней через стену тюремной одиночки оставил в моей душе неизгладимый след.

Проходит месяц, другой. Дело мое быстро двигается, следствие заканчивается. Предаюсь суду судебной палаты. Однако, «весна» Святополка-Мирского мне помогла. Как-то раз, на третий или на четвертый месяц сидки, я немного заболел и обратился к тюремному врачу. Врач осмотрел меня и, к моему изумлению, посоветовал мне подать заявление об освидетельствовании меня врачебной комиссией.

— Если губернская врачебная комиссия признает, что вам вредно тюремное заключение, вы сможете подать прошение об освобождении вас, на основании заключения комиссии, до суда или на поруки, или под надзор полиции,—сказал мне врач.

Чем чорт не шутит! Подаю заявление. Комиссия находит, что «дальнейшее пребывание мое в тюрьме грозит мне психическим расстройством», о чем я и довожу, смеясь в душе, до сведения прокуратуры, прося выпустить меня до суда.

И такова сила «весны»! Меня, действительно, выпускают «под гласный надзор архангельской полиции». Этим самым я не только получаю волю, но и закрепляюсь в Архангельске: надзирать за мной уже не в качестве ссыльного, а в качестве подлежащего суду, поручается не какой-либо уездной, а именно губернской полиции. Тем самым я легализирую свое пребывание в Архангельске.

В виду моей двойной поднадзорности, комитет пока отстранил меня от активной работы в рабочих

кружках, чтобы не подвести последние под провал, оставив за мной только интеллигентские кружки учащихся. Но это было в конце декабря 1904 года. Приближалось 9 января 1905 года, которое ускорило мой побег из Архангельска.

ГЛАВА VII.

1905 г. Побег на «баррикады».

1.

Десятого января вечером захожу я в клуб ссыльных и вижу там большое возбуждение: окруженный взволнованной толпой ссыльных Гольдштейн читает по бумажке секретное сообщение из Петербурга Архангельскому губернатору о событии 9-го января, которое он получил только что через свои «связи» в канцелярии губернатора. Это известие поразило нас всех, как громом среди зимнего неба.

— Товарищи, да ведь это революция! Сейчас, вероятно, в Петербурге идет баррикадный бой...—кричали возбужденные голоса.

Меня это известие захватило полностью. Да, это революция! В Питере, наверное, сейчас дерутся, а я сижу здесь. Это преступно перед своей совестью, это недопустимо, я должен быть там. Немедленно же, сегодня же бежать в Петербург!

Но решение это было осуществить не так-то легко—у меня не было ни паспорта, ни денег, ни

явок в Петербург. Тем не менее я твердо решил уехать в тот же день—поезд отходил часов в 12 ночи. В течение тех двух часов, которые оставались в моем распоряжении, я сумел только достать в кассе взаимопомощи политических не то 40, не то 45 руб. на дорогу и адреса одного наборщика из газеты «Новая Жизнь» и какого-то приказчика. Паспорта достать не удалось. Тем не менее я твердо решил ехать. Я представлял себе Петербург охваченный революцией, с кипящей на его улицах баррикадной борьбой, а при этих условиях на кой чорт нужен паспорт, да и особенной и в явках нужды, вероятно, не будет.

Итак, с 40 рублями в кармане, из которых рублей пятнадцать истратил на билет, без всяких вещей, без паспорта, с весьма проблематичными явками я сажусь в полночь в поезд, идущий на Ярославль, и еду.

В поезде было людно и шумно. Как скоро выяснилось, многие из пассажиров ехали в Петербург—это были рабочие и служащие различных петербургских предприятий, уроженцы Архангельской губернии, возвращавшиеся из побывок и отпусков на родину к месту службы. О событиях в Петербурге никто, конечно, еще не имел никакого понятия, ибо они официально еще не были опубликованы. Больших трудов мне стоило держать язык за зубами, хотелось кричать о них, рассказывать, звать на борьбу и на протест. Однако, конспиративное соображение, опас-

ность провалиться, не доезжая до Питера, заставили меня молчать.

О событиях в Питере мы все прочли из правительственного сообщения по приезде в Ярославль в местных газетах. Впечатление на всех это сообщение произвело колоссальное. Языки развязались, послышались весьма резкие суждения. Возмущались и негодовали не только рабочие, но и люди в чуйках и поддевках. Я старался молчать, ограничиваясь ролью слушателя и наблюдателя, а нетерпение мое и нервное напряжение, чем ближе поезд подходил к Питеру, тем все более и более нарастало. Кажется, в Бологом я услышал от севших вновь пассажиров сообщение, окатившее меня, как ушатом холодной воды, что в Петербурге уже «все спокойно». Это было так для меня внутренне неприемлемо, что я не поверил, я хотел сохранить свое убеждение в том, что еду непосредственно на открытую уличную борьбу с правительством.

Ну, что же,—думал я,—если сейчас и нет боя на улицах, то это, вероятно, временный перерыв, нет сегодня, будет завтра. Мысль о том, что Питер после такого чудовищного расстрела может быть спокоен, совершенно не укладывалась в моей голове.

Приехал я в Питер рано утром не то 12-го, не то 13-го января. Выхожу на Знаменскую площадь и с любопытством озираюсь кругом. Кругом все тихо и спокойно. Первое, что мне бросилось в глаза, это

городовые с черными повязками на ушах. Моему возбужденному воображению эти черные повязки—самые обычные наушники, которые надевали столичные полицейские на посту во время морозов—показались бинтами...

— Ага, здорово же вас, голубчиков, видимо, побили, у каждого голова забинтована,—с чувством злорадства подумал я. Уже позднее, когда я понял, в чем дело, мне почему-то было очень стыдно этой своей первоначальной мысли...

Как бы то ни было, раз я уже в Питере, надо прежде всего искать явки. Явка к наборщику была где-то не то на Васильевском острове, не то на Петербургской стороне. Так как было еще рано, то я пошел пешком и часам к 10 утра нашел назначенный дом. Но, увы, наборщика не оказалось! Хозяева с тревогой сообщили мне, что он ушел вместе с другими на демонстрацию 9-го января и не вернулся, они считают его убитым или раненым, лежащим где-нибудь в больнице. Направляюсь разыскивать приказчика и тоже неудача—выехал из Петербурга.

Таким образом, 12-го января, в то время, когда в Петербурге свирепствовала чрезвычайная охрана, я очутился на улице без связей и без паспорта, с несколькими рублями в кармане. Только тут я начал реально чувствовать всю необдуманность и скороспелость своего побега из Архангельска. Что мне было делать—я и сам не знал, но у меня и мысли не по-

явилось, пользуясь еще тем, что у меня оставались деньги и на обратный билет, вернуться обратно. Наоборот, все мое внимание было направлено на то, чтобы ознакомиться с Петербургом, где я был впервые, и выяснить настроение рабочих кварталов. Я зашел в чайную, напился чаю, обогрелся и направился искать рабочие кварталы.

В этом первом знакомстве с Петербургом время летело совершенно незаметно, я ходил из улицы в улицу, заходил греться в чайные и опять шел дальше. Вечером я вновь очутился на Петербургской стороне, вновь зашел на квартиру наборщика, узнал о неуспешности розысков хозяевами его по больницам, и с тяжелым чувством одиночества вновь очутился на улице. Часов в 10 вечера неожиданно для меня начали закрываться чайные, трактиры и другие заведения, где можно было посидеть и обогреться. Мосты на Неве были разведены, улицы быстро опустели и погрузились во мрак, и по ним начали дефилировать конные раз'езды. Тут только я почувствовал, что мое положение «совсем пиковое»... Деваться мне было некуда, и если не сейчас, то в ближайшие часы я должен буду попасть в лапы обхода. К тому же мороз, довольно сильный и днем, к ночи стал сильно крепчать, а мое ватное пальтишко представляло от него плохую защиту.

Стараясь избежать встречи с патрулями, я свернул в боковые переулки, бродя с одним желанием—где-ни-

будь отдохнуть и погреться. Вдруг вижу огонек, подхожу—«ночная чайная для извозчиков». Кажется, в жизни своей я так ничему не радовался, как этой чайной. Захожу туда и вижу картину: извозчиков нет, но в низкой, страшно грязной комнате, сплошь заставленной длинными столами и лавками, в разных позах сидит человек 20—30 разного рода оборванцев, перед каждым из них стоит чайный прибор (два чайника и чашка). Однако, пьют чай очень немногие, большинство из них, склонившись на стол, спит, держа шапку в руках (позже я узнал, что шапку класть зря здесь не полагается—живо стащут).

Хотя я не блистал шикарным костюмом, но все же мое в общем крепкое черное пальто явилось резким пятном «барства» на фоне всей этой оборванной братии, этих бывших людей, обитателей «дна». Я это и сам почувствовал, независимо от тех взглядов, которые на меня начали бросать еще не спящие. С чувством какой-то неловкости я скромненько пробрался вперед к стойке, сел за ближайший столик и спросил чаю. Грязный, взлохмаченный половой принес мне «пару чаю», смотря на меня, как мне показалось, тоже подозрительно. Отогреваясь горячим чаем, я думал посидеть немного, а затем пойти на авось, и, по возможности, избегая встречи с патрулем, отыскать где-нибудь еще такую же чайную и так прокоротать ночь. Но скоро усталость взяла свое, я совсем засыпал, двигаться не хотелось.

За стойкой сидела какая-то довольно молодая женщина, с усталым и помятым, но довольно симпатичным лицом. Взглянув на меня раз-другой и, видимо заинтересовавшись необычным в их чайной посетителем, она заговорила со мной. Отчаянная мысль мелькнула в моей голове—человек-то, кажется, она симпатичный, что я теряю, если попытаюсь прибегнуть к ее помощи... И я рассказал ей, что я приезжий, приехал искать работу, должен был остановиться у товарища, но его убили 9-го января, что где-то в чайной у меня вытащили паспорт и я теперь не знаю, что делать, деваться мне сейчас некуда, а на улице ходят патрули, которые могут задержать.

Женщина выслушала мой рассказ с большим вниманием и сочувствием, и я увидел с ее стороны искреннее желание помочь мне. Она мне сказала, что быть у них в чайной для меня далеко не безопасно, что с минуты на минуту надо ожидать обхода агентов сыскного отделения (уголовный розыск), которые проверяют у всех паспорта и задерживают подозрительных, что меня они обязательно задержат, как беспаспортного.

Мне ничего не оставалось после этого, как поскорее убраться оттуда, но и на улице опасность была не меньше.

Наконец, женщина придумала—у ней за стойкой, немного в отдалении, стоял столик. Она меня пригласила к себе за стойку, так сказать, в хозяйское

помещение и предложила мне сидеть тут в качестве ее брата, пришедшего навестить ее.

— Здесь они вас проверять, наверно, не будут, а если спросят, то я за вас отвечу, как вас зовут и фамилия.

Я сказал первое попавшееся имя.

За стойкой в разговорах со своей новой знакомой, при чем я фантазировал во-всю, рассказывая ей про себя турусы на колесах, я начал чувствовать себя довольно хорошо: в будущем как-будто появился какой-то просвет. Вдруг в чайной движение: отворяется дверь, входит околоточный надзиратель и несколько фигур в штатском, и начинается процедура обхода сидящих.

— Эй, ты, вставай, — трясет за плечо спящего один из агентов.

Тот мычит и не просыпается. После долгих усилий, когда его почти насильно ставят на ноги, тот, наконец, «просыпается», долго шарит в дырявых карманах и за пазухой и, наконец, заявляет, что в кармане, вишь, дыра и паспорт он, значит, через нее выронил. Суб'екта немедленно забирают «для выяснения личности».

Я сижу за стойкой с самым непринужденным видом, лениво потягиваю из стакана, помешиваю в нем ложечкой, изредка перекидываясь словами со своей «сестрицей». Вскоре она отошла от меня, с ней разговаривал о чем-то околоточный. На меня обход не

обратил никакого внимания и вскоре удалился, уводя с собою одного арестованного.

— Ну, теперь,—говорит моя «сестрица»,—ты, Петя, можешь отдохнуть до утра, пока я не сменюсь: иди вон за перегородку и приляг там.

Это было сказано нарочно громко при половом. Я не заставил себя долго ждать и с наслаждением развалился на достаточно-таки оборванной и грязной кушетке. На утро я с чувством глубокой признательности расстался с моей знакомой незнакомкой и вновь принялся за поиски каких-либо «зацепок», которые позволили бы мне выбраться из того положения, в какое я попал. Однако, как я ни перебирал в своей памяти, кто бы мог быть в Питере из моих знакомых или партийных товарищей, я никого не находил.

Наконец, у меня мелькнула мысль пойти в редакцию какой-либо из либеральных газет, в роде «Новой Жизни» или «Сына Отечества», повидаться с секретарем редакции, прямо сообщить ему о том, кто я и в каком положении очутился, и настоять на том, чтобы он связал меня с партийной публикой.

— Ведь, не может же быть,—думал я,—чтобы у них не было знакомства с эсдеками. Конечно, он сначала примет меня за шпика и будет всячески отбояриваться от меня, но, авось, моя настойчивость тут поможет. Ведь, мне все равно: или «революционным путем» добиться связей с партией, или придется попасть в руки полиции.

С этими думами в твердой решимости не уходить ни за что из кабинета секретаря редакции до тех пор, пока он меня не свяжет с эсдеками, я решительно зашагал с Петербургской стороны на Невский.

Но прибегнуть к этому решительному средству мне не пришлось. Счастье, наконец, мне улыбнулось: проходя по Дворцовому мосту, я вдруг был остановлен окриком:

— Залежский, это вы?

Невольно приостанавливаюсь и поворачиваю голову на окрик. Передо мной на извозчике господин с поднятым воротником шубы.

— Охранник,—подумал я, и, инстинктивно отвернувшись, двинулся было дальше; однако, бросив еще быстрый взгляд на фигуру, сидящую на остановившемся около меня извозчике, узнаю в ней одного из архангельских ссыльных, упомянутых уже выше, Экка, уехавшего оттуда по окончании срока ссылки месяца за два до этого.

Обрадовался ему, как другу, как брату.

— Да это я, я только-что оттуда...

— Ага, ну садитесь со мной, я еду в столовую, там пообедаем и поговорим.

Я был спасен и в этот же день был на партийной явке.

Тем не менее, устроиться в Петербурге на партработу мне не удалось, и помешало этому то, что меня свел с петербургской организацией Экк. Дело в

том, что у него вскоре возникли с организацией недоразумения, которые, естественно, поставили и меня, им рекомендованного, в довольно паршивое положение. В этих обстоятельствах у меня был только один выход: вернуться вновь в Архангельск и сейчас же вновь уехать, запасшись уже солидными явками и паспортом от Архангельского комитета партии, что я и сделал.

2.

Пробыв в Архангельске несколько дней, я был направлен сначала в Ярославль, а оттуда в Москву. В Ярославле долго работать мне не пришлось, а московская организация направила меня для работы в Нижний, куда я и направился весною 1905 года, с паспортом на имя Всеволода Петровича Воронова и партийной явкой на тонкой папиросной бумаге, спрятанной в мундштуке папиросы.

Еду я в третьем классе, вагон переполнен. Вдруг глаза мои встречаются с чьими-то другими, пристально на меня смотрящими. Вглядываюсь — удивительно знакомое лицо, где-то я его хорошо и много раз видел... Я уже поднялся было, чтобы подойти к знакомому незнакомцу, как вдруг он, очевидно, поймав мое намерение, как-то конфузливо переводит глаза в сторону и нервно ерзает на месте.

— Ба, да это шпик, который так усердно сопровождал меня по пятам года три тому назад в Казани!

Эта встреча не предвещала мне ничего хорошего. Раз это казанский шпик, то он прекрасно знает, что я сослан в Архангельскую губернию, и, конечно, ему не менее хорошо известно, что я бежал оттуда и разыскиваюсь департаментом полиции. Что делать? Я не сомневаюсь, что на первой же станции буду арестован жандармами.

Чтобы проверить, узнал ли он меня и считает ли нужным следить за мной, я поднимаюсь с места, иду якобы в уборную, а сам перехожу в другой вагон. Не проходит и десяти минут, как в вагоне появляется его фигура и, заметив меня, спокойно и не глядя проходит дальше.

— Кончено. Он меня узнал и сейчас задержит.

Мысль мучительно ищет исхода: забраться в какой-нибудь отдаленный вагон, затеряться в толпе при остановке поезда на станции, переждать здесь день и постараться удрать с каким-нибудь ночным или товарным поездом...

Приближается станция. Я поднимаюсь и иду из вагона в вагон, в сторону, противоположную той, куда прошел шпик. Но, увы, он уж, видимо, смекнул, что я намереваюсь улизнуть, и следит за мной неотступно. Он идет за мной на некотором расстоянии и старается не терять из виду.

— Остается одно, когда поезд будет подходить к станции и немного замедлит ход, выпрыгнуть на ходу и удрать.

Приняв это решение, я поворачиваю обратно, стараясь попасть в последний вагон хвоста поезда. Прохожу мимо равнодушной физиономии шпика, выхожу на площадку, оглядываюсь — в дверях за стеклом маячит его рожа.

Быстро перехожу еще вагон, другой; поезд подходит к станции, прошел семафор. Выскакиваю на площадку и прыгаю на полотно. Ноги как-то совсем легко касаются земли, подкашиваются, я падаю и перевертываюсь раза два по земле через голову. Спрыгнул в общем благополучно, немного помялся, изорвал на коленке брюки, но ничего не поломал. Поднимаюсь и бегу. Вдруг слышу сзади:

— Караул, держите, вор!

Оглядываюсь и вижу бегущего за мной моего шпика, без шапки, с поцарапанной физиономией, прихрамывающего. Оказывается, он также бросился с поезда вслед за мной.

Его крики, растерзанный вид, так же, как, конечно, и мой, привлекли на себя внимание проходящих. Публика бросилась за мной, и не прошло несколько минут, как я был уже задержан.

Нас повели на станцию, шпик пошептался с жандармом, и скоро я очутился в жандармской комнате.

— Что, господин Залежский, не удалось вам уйти?—с оттенком самодовольства бросил мне шпик.— Ну, и ловкий вы все-таки и отчаянный какой!

Я ответил презрительным молчанием. Скрываться мне было смешно. Поэтому я подтвердил свою самоличность, вручил жандарму свой нелегальный документ и скоро сидел в местной каталажке, ругаясь и злясь на глупую случайность.

Скоро меня отправили в Рязанскую тюрьму, а оттуда, приблизительно через месяц после того, как была закончена необходимая переписка обо мне, я пошел этапом через Москву и Ярославль обратно в Архангельск.

В Москве я попал как раз ко времени отхода этапа на Ярославль, в последнем же мне пришлось просидеть в тюрьме дней шесть. Нас берет ярославский конвой, который должен был довести этап до вагонов Архангельско-Вологодской железной дороги на той стороне Волги. Железнодорожного моста через Волгу у Ярославля тогда еще не было, переправа через реку производилась на специальном пароходе. Во дворе тюрьмы всех нас, этапников, построили в затылок рядами по четыре человека, при чем получилась довольно внушительная колонна, так как всего арестантов было, сколько помнится, двести слишком человек. Нас, политических, было человек 35. Нас поставили в хвосте колонны, за нами стояли женщины. В то еще «либеральное» время по отношению к политике мы, политические, не только шли по этапу в своем платье, но нас не заковывали в ручные кандалы, как всех остальных, которых «наручнями» сковывали

за руку попарно. Так как политиков было нечетное число, то я, после того, как все товарищи выстроились по четыре человека, остался в одиночестве; у меня не было ряда и меня примкнули к первому ряду уголовных, где было всего три человека—так что со мной и этот ряд делался полным. Я шел в ряду уголовных так же, как и все политики, без «наручень».

Окруженные тесным кольцом солдат, мы длинной колонной дефилировали по улицам Ярославля от тюрьмы к пристани. Темные ряды политиков резко выделялись на сером фоне арестантской одежды уголовных и привлекали к себе всеобщее внимание прохожей публики. По бульварам за нами шла толпа, с которой мы изредка перекидывались словами, несмотря на окрики конвойных. Среди толпы было много местных студентов и курсисток. Мы им крикнули, что удобнее разговаривать на той стороне Волги, ибо здесь, в городе, солдаты должны были боясь начальства держать себя строго.

По прибытии на пристань нас изолировали от остальной публики, пока, наконец, не начали грузить на специальный пароход для переправы. На пароход по сходням мы входили так: шел ряд арестованных, сзади него солдат, следующий ряд и опять солдат и т. д. Нас погрузили в трюм, и пароход отчалил. На той стороне нас дожидался вологодский конвой, который присоединялся у парохода к ярославскому, оба

конвоя вместе шли к вагонам. Здесь вологодский конвой принимал от ярославского арестованных счетом, получал их бумаги, а затем начинал поверку каждого персонально по проходному листу.

Когда мы под'ехали к пристани на той стороне Волги и пароход бросил сходни, началась та же процедура выгрузки: опять часть ярославского конвоя сходит на берег и вместе с вологодским встречает наши ряды, опять двигаемся по рядам — ряд арестованных, впереди которого и сзади идут конвойные, а по бокам охраны нет. Перед лицом вологодского конвоя ярославцы форсят строгостью и деловитостью; слышатся окрики: живей, в затылок, не гляди по сторонам и т. п. Быстро ряд за рядом уголовные взбегают по доскам на кручь берега, на котором дожидаются любопытные и родственники этапников с кулечками и свертками передачи. То тот, то другой из «вольной» публики старается приблизиться к рядам арестованных и сунуть своему родственнику или знакомому передачу.

— Не подходи. Нельзя подходить к арестованным,—кричит шокированный этим перед вологжанами начальник ярославского конвоя.—Конвойный, чего зеваешь, отгоняй вольных! — Молоденький солдатик бросается к сходням с берега и начинает отталкивать публику. В это время по сходням выходит на берег мой ряд — трое уголовных и я, крайний, в штатском платье «вольного» человека.

— Отойди, отойди,—кричит солдат, махая рукой. Я в это время как-то загляделся в сторону, где стояла группа студентов и курсисток, и немного отделился от ряда. Солдат принимает меня за вольного и толкает—отойди.

Увидав солдата, я совершенно инстинктивно делаю шаг опять к своему ряду, от которого немного отделился.

— Да отойди, говорят тебе,—заорал на меня солдат и так толкнул рукой, что я не успел очнуться, как уж очутился в стороне от этапа. Я остановился, растерянно оглядываясь. А этап продолжает итти, не обращая на меня никакого внимания. Мгновение—и меня окружает группа учащейся молодежи, на которую я только-что загляделся и на глазах которой произошел весь этот инцидент...

Молодежь приняла во мне самое горячее участие. Сейчас же были собраны деньги, один из студентов побежал на берег и нанял рыбачью лодку, которая немедленно и перевезла нас обратно в Ярославль, куда я вступил уже вольным человеком, уйдя оттуда полчаса тому назад арестантом.

Я не сомневался, что меня сейчас же хватятся и, конечно, как на вокзале, так и на пристанях начнется усиленная слежка, будут искать и ловить меня. Студенчество быстро соорганизовало отправку меня вниз по Волге, на лодке, до первой пароходной при-

стани, снабдив меня студенческим видом и форменной фуражкой. Часа через три я уже был на пароходной пристани одной из дачных местностей Ярославля, лежащей на Волге, в качестве отдыхающего студента. Вскоре подошел пароход, и я продолжил свое прерванное месяца два тому назад путешествие в Нижний.

Что касается до конвоя, то, как я узнал впоследствии от товарищей, от которых я отбился так счастливо, он, не подозревая убыли в рядах этапа, довел его до вагонов, это саженях в двухстах от Волги, где и началась процедура приема «счетом» арестантов от ярославцев вологжанами. Отсчитывают 35—40 человек и направляют в арестантский вагон, следующую группу в другой и т. д. Справились по бумагам—одного не хватает. Решили, что ошиблись в счете. Начинают снова считать. Опять не хватает—уже двух. Начинают третий раз — опять одного не хватает. Товарищи рассказывали, что процедура счета происходила раз шесть, и чем дальше, тем все больше и больше нервничали конвойные. Наконец, решили начать проверку путем персонального «выкликания». Все это заняло не менее двух часов времени. И только таким путем им удалось, наконец, установить точно, что один из политиков—«Владимир Николаев, сын Залежский»—действительно, куда-то исчез. Но было уже поздно ловить его...

3.

Едва успел я под вечер по прибытии в Нижний явиться на партийную явку, как один из товарищей предложил мне пойти с ним на митинг в «Сормовскую республику».

Привыкший к подпольной работе, я был прямо обескуражен тем, что увидел в Сормове. В самодержавной Российской империи Сормово было, действительно, свободной рабочей республикой. Весной 1905 года рабочие Сормова отвоевали себе фактическую свободу. Здесь полиция не показывалась, и рабочие беспрепятственно, ежедневно по окончании работы, на площади тысячными толпами собирались на митинги послушать партийных ораторов.

Когда мы с товарищем подошли к площади, митинг уже начался. Тысячная толпа сидела на земле, а в середине стоял оратор и открыто говорил речь, призывая к борьбе с самодержавием и т. п.

Одного оратора сменял другой, и так до глубокой ночи, когда толпа с пением революционных песен начинала расходиться.

Здесь наша партия вышла из подполья, работала открыто в массах, сохраняя в подполье только свой технический и узко-организационный аппарат. На заводах с.-д. коллективы жили открытой жизнью. По мастерским также почти открыто формировались боевые рабочие дружины. Казалось, что живешь в какой-то

особой стране за тридевять земель от самодержавно-полицейского государства Российского.

Отблески сормовской свободы падали и на Нижний. Помню, вскоре после моего приезда, публичный доклад в одном из клубов Нижнего, который делал приезжавший на «гастроль» писатель Тан-Богораз. Доклад был на тему о текущем моменте и носил, сколько помнится, весьма сумбурный характер в стиле тактических представлений философии Льва Толстого.

— Россия должна стать свободной,—говорил Тан.— Вы хотите знать, как это сделать? Для этого не нужно никаких вооруженных восстаний, никаких боевых дружин, как это учат эсдеки. Для этого нужно только одно: захотеть всем быть свободными, заговорить, о чем думаете, и вы будете свободны.

И он иллюстрировал эти свои благоглупости примером Сормова и самым фактом своего публичного открытого доклада.

— Ведь, вот мы собрались же, не спрашивая ни у кого разрешения. Давайте все так же делать и впредь, и мы будем свободны.

Действительность Сормова и Нижнего как-будто оправдывала его слова, и речи возражавших ему эсдеков, доказывавших необходимость и неизбежность вооруженной борьбы для свержения самодержавия, казалось, противоречили факту наличия здесь действительной свободы.

Однако, общероссийская действительность в скором времени наглядно продемонстрировала правоту эсдековской критики идей Тана. Лично я этого не дождался—я уехал в Казань и уже там узнал о нападении полиции на «Сормовскую республику», о вводе туда казачьей сотни, о расстрелах толпы, разгонах митингов и о действиях против казаков и полиции сормовских боевых дружин. Победили казаки.

Что же касается до Нижнего, то летом 1905 года здесь разразился грандиозный черносотенный погром. Били интеллигентов, типа Тана, и вообще «шляпников» (т.-е. людей, ходящих в шляпах).

Я не знаю, в каком городе в это время читал Тан свой реферат.

Казанская организация, когда я туда приехал, также переживала период накопления своих сил и усиленный рост организационного партийного строительства. Хотя там открытых митингов сормовского типа и не было, но многолюдные массовки проходили чуть не ежедневно в лесах и полях, окружавших рабочие слободы. И здесь наша организация об'ективно готовилась ко второй половине бурного 1905 г., когда — после манифеста 17 октября — ей удалось даже взять в руки на несколько дней в Казани власть.

Первая широкая кампания, которую подняла казанская организация—первомайская. Так как международный день 1-го мая по старому стилю падал на

18-е апреля, а рабочий класс России считал 1-е мая по старому стилю, то Комитет, учитывая обе эти даты, об'явил своеобразную «первомайскую неделю», как сказали бы теперь, и в течение этих 13 дней развил весьма большую агитацию как письменную, так и устную, и устроил ряд массовок. Поднимался также вопрос о демонстрациях, но, учитывая еще недостаточную подготовленность рабочей массы Казани, эта идея была оставлена.

24-го апреля Комитет решил устроить массовку в самом центре города, в большом саду—«Черное Озеро», где обычно происходили по вечерам бесплатные народные гулянья и играл духовой оркестр. По плану Комитета, по условленному сигналу, партийная боевая дружина должна была окружить и поднять на свои плечи оратора, который и должен был провести митинг. Однако, план не удался. Один из провокаторов, находившийся в организации, своевременно известил о замысле кого следует, и как раз в том месте, где должно было произойти собрание, оказались усиленные наряды полиции и большое количество «гороховых пальто».

Как полиция, так и широкая обывательская масса, с большой тревогой ждали дня 1-го мая ст. ст. Говорили о готовившихся беспорядках среди рабочих порохового и Алафузовского заводов, о поджогах нефтяных баков, о взрыве пороховых погребов и прочие благоглупости в этом роде.

На самом же деле Комитет решил устроить первомайскую массовку на лодках за городом. С раннего утра вниз по реке Казанке потянулись лодки, наполненные рабочими и даже солдатами. Уже к 9-ти часам утра ни на одной из лодочных пристаней нельзя было достать лодку—все они были уже разобраны.

Маевка была обставлена крайне конспиративно. Об ее настоящем месте знал только очень узкий круг организаторов. По всему пути следования были расставлены патрули: то сидит на утлой лодчонке «рыболов», мало обращающий внимания на свою удочку, то на зеленой травке у воды расположилась семья рабочего с самоваром и разного рода снедью—мирная семейная картина... Проезжающие лодки получали от этих «рыболовов» и отцов семейств указания—куда ехать до следующего патруля, который направлял их дальше. Место массовки было назначено в Игуменовском лесу на холме, превращенном разливом Волги в остров.

На маевку собралось человек 350—400. Выступали лучшие силы Казанского Комитета и, в частности, «товарищ Алексей» (Лозовский). Вдруг раздается крик:

— Полиция!

Но паники не произошло. Организаторы быстро восстановили порядок в шарахнувшейся было толпе. Скоро выяснилось, что тревога была ложная, но все же настроение было порвано и маевка прекращена.

Этот инцидент не только не посеял среди собравшихся паники, но, наоборот, еще более революционизировал настроение.

Когда лодочная флотилия с участниками маевки тронулась в обратный путь, возбужденное настроение вылилось в своеобразную демонстрацию. На передней лодке взвилось роскошное бархатное с золотой бахромой знамя Казанского Комитета. Другие лодки, в числе 31-ой, окружили его, выкинув свои флаги. Тут же кто-то окрестил шествие «эскадрой Казанского Комитета Р. С.-Д. Р. П.»

Встречные пассажирские пароходы с большим изумлением наблюдали это своеобразное зрелище. На плоты, баржи и беляны, которые попадались «эскадре» по пути, раздавались прокламации.

Знамена были убраны только около самых весенних пароходных пристаней. Полиция не успела приготовиться к «встрече» демонстрации, и все ее участники благополучно разошлись по домам.

В течение нескольких дней город и рабочие кварталы жили рассказами об этой демонстрации.

Однако, первомайской неделей не закончилась полоса массовок, наоборот, она только положила начало «массовочной кампании». Массовки начали устраиваться все чаще и чаще, делаясь все многолюднее и многолюднее.

В середине мая, среди рабочих крупнейшего завода в Казани—Алафузовского—начались волнения. Тяже-

лые условия труда и произвол заводской администрации толкали массу на борьбу. Из уст в уста передавались слухи о том, что готовится забастовка, в различных цехах начали учащаться слухи единичных протестов.

Тогда Комитет решил выяснить настроение рабочих в массе и возможность забастовки путем устройства открытых митингов на манер сормовских, о которых я упоминал выше.

4-го июля, по окончании работ, рабочие были остановлены у ворот завода, партийный агитатор произносит небольшую речь и приглашает рабочих итти на луга, на собрание. Тут же начали раздаваться прокламации Комитета.

На призыв оратора откликнулось человек 500, которые и направились на ближайший луг, где и произошло совершенно открыто собрание. К партийному оратору масса отнеслась очень хорошо, хотя отдельные темные рабочие и ворчали на «смутьяна».

— Уходи ты от нас, покуда цел! Ты, ведь, всех нас не прокормишь. От ваших советов только хуже будет.

Но общее настроение было на нашей стороне. Это весьма ярко выявилось на другой день, когда Казанский Комитет послал «товарища Алексея» (Лозовского) повторить «митинг на лугу». У ворот завода рабочие опять были остановлены—на этот раз осталась послушать оратора почти вся масса. С большой

речью выступает «Алексей». Вот как передает дальнейшие события историк казанской организации тов. Лившиц.

— Братцы,—говорит «Алексей»,—подходите ближе, теперь настало время нам открыто поговорить о своем житье-бытье. Мы с утра до вечера работаем, не видим отрадных дней, едим черный хлеб,—требуйте прибавки заработной платы. Не бойтесь, фабрику не остановят—на казну работаете. Бросайте работать, и все сделают по-вашему...

Из среды окружавших «Алексея» организованных рабочих послышались возгласы:

— Пойдемте, братцы, на луга, поговорим на свободе о своем деле. Не бойтесь!

И вся толпа двинулась на луга.

Однако, кто-то пытался спровоцировать толпу и крикнул по отношению к «Алексею»:

— Надо взять его, чего на него смотреть, что он бунтует народ.

В этот момент на толпу налетели казаки, заработали нагайки по спинам рабочих. «Алексея» полицейские оттерли от толпы и арестовали, несмотря на отчаянное сопротивление окружавших его рабочих.

Но не тут-то было. Разбежавшиеся было рабочие вновь собрались и с камнями в руках бросились отбивать своего любимца.

— Весь завод разнесем к чорту,—ревела раз'яренная масса,—если не освободите его.

Руководивший налетом на толпу пристав увидел, что дело принимает скверный оборот, что толпа действительно способна в данный момент на разгром завода. После телефонных разговоров с начальником жандармского отделения, под гул и крики рабочей толпы, пристав сдался, и «Алексей» был освобожден.

Когда «Алексей» вышел к толпе, его встретили бурной овацией. Его качали бесконечное число раз...

Во главе с «Алексеем» рабочие вновь отправились на луга, и здесь было постановлено начать забастовку на следующий же день.

На другой день завод, действительно, встал. Депутат от рабочих заявил управляющему заводом, что рабочие требуют вызвать для переговоров с ними губернатора и старшего фабричного инспектора. Вскоре прибыли встревоженные представители власти. Вице-губернатор Кобеко, который в то время исполнял должность губернатора, был очень перепуган и обращался к депутатам—«уважаемые товарищи».

Толпа встретила властей насмешливо и злобно. Довольно солидное брюшко вице-губернатора стало предметом острот и шуток.

— Вот они, кровососы-то! У нашего брата такое брюхо разве бывает!..

В переговорах с губернатором депутаты от рабочих потребовали прежде всего разрешения устроить несколько сходок для обсуждения требований стачечников, которые, по их мнению, были еще не доста-

точно разработаны. Необходимым условием они ставили, чтобы на этих собраниях полиция не присутствовала. Боявшийся «политических беспорядков» губернатор, видя, что забастовка приняла «мирный» экономический характер, успокоился и согласился на это требование.

Так начались в Казани первые легальные митинги. На этих собраниях присутствовала часто вся четырехтысячная масса алафузовцев. Сначала на них обсуждались вопросы стачки и формулировались требования забастовщиков, а затем они были использованы партией и в политическом отношении. Партийные ораторы убеждали рабочих держаться дружно, не проваливая забастовки, и старались возбудить у рабочих интерес к политическим вопросам.

Значение этих митингов было огромно. Большинство рабочих впервые узнало здесь о самодержавии, о его классовой природе, о политической партии пролетариата и о конечной цели борьбы рабочего класса—о социализме.

На почве возбужденного настроения массы, среди отдельных рабочих, наиболее суб'ективно революционно настроенных, проявлялись анархические нотки. Так, один из рабочих, слесарь Абрамов, на одном из митингов заявил перед многочисленной аудиторией, что если заводская администрация ответит на требования рабочих отказом, то надо отстаивать свои права силой.

— Я думаю, что у вас найдутся ножички и револьверы.

8-го июля администрации завода были пред'явлены требования стачечников экономического характера, но как губернские власти, так и заводская администрация уже оправились от своего испуга и решили не уступать. Рабочим было предложено на другой день стать на работу на старых условиях. Рабочие отказались, но часть их оказалась штрейкбрехерами и к работе все же приступила. Это была самая темная масса, которая с самого начала выступала против забастовки. Первое время резкими угрозами сознательным рабочим удалось было снять штрейкбрехеров с работы, но не надолго. Их количество стало увеличиваться.

Продолжавшая бастовать масса очутилась в незавидном положении. Остро начало сказываться отсутствие денег, ибо помощи стачечникам, более или менее заметной, Комитету организовать не удалось: денег у него не было, а местные лавочники перестали отпускать стачечникам товары в кредит и даже собирались закрыть свои лавки, боясь «буйства» рабочих. Рядом с этим, весь район был наводнен полицией, сюда были присланы две роты солдат и казачья сотня, патрули которой и раз'езжали по улицам рабочей слободы.

Все это сорвало стачку. Число становящихся на работу все росло и росло. Оставшиеся в меньшинстве,

продолжавшие еще бастовать рабочие, сделали попытку снова собраться на лугу и на требование полиции разойтись — категорически заявили—скорее умрем, чем разойдемся.

Тогда явилась казачья сотня и разогнала их нагайками.

Забастовка была сорвана. Масса встала на работу на старых условиях, «зачинщики», конечно, были выкинуты.

В настроении рабочей массы наступила реакция. Ругали и партийных и своих руководителей. Подняли голову черносотенцы. Однако, отдельные рабочие не поддавались этому упадочному настроению:

— Вот стоишь на работе, а все вспоминаешь, как говорили ораторы, и стыдно становится, что не выдержали...

Между тем, массовки шли своим чередом. Каждое воскресенье и праздничный день, обычно за рекой Казанкой, на лугах и в лесах, собирались рабочие по призыву партийных организаторов. Полиция хотя и знала о них через «внутренних осведомителей» (провокаторов), но почему-то не принимала против них никаких мер. Наконец, 14 августа начальство решило «принять меры». В этот день Комитетом была организована в лугах за Казанкой большая массовка, привлекшая до 250 человек. Полиция выследила место собрания, но почему-то напасть на массовку не ре-

шилась, очевидно, боялась возможности вооруженного отпора со стороны боевой дружины, которая всегда охраняла массовки. Массовка кончилась часов в 11 вечера, и когда участники ее возвращались в город, на них был пущен взвод уральских казаков. Поднялась страшная паника. В темноте казаки гонялись за бегущими, и кого догоняли—хлестали нагайками. Задержано было около 10 человек. Это нападение было для участников массовки совершенно неожиданно, а поэтому никакого сопротивления казакам оказано не было, хотя у многих и были с собой револьверы.

Все изложенное показывает, что в жизни и деятельности казанской организации партии летом 1905 года было немало ярких и драматических моментов. Я приведу еще два, известные мне, характерные для того времени случая из жизни подполья.

Первое—это провал типографии.

Весной 1905 года в распоряжении казанского Комитета находилась небольшая подпольная типография очень примитивного устройства. Тем не менее она работала очень исправно и выпускала массу листовок. Жандармерия, конечно, ее усиленно разыскивала. В середине марта один из провокаторов, студент Казанской духовной академии Львов, пронюхал, что типография находится в квартире помощника присяжного поверенного Токарева на Жуковской улице, и донес об этом в охранку.

Начальник охранки Кулаков сейчас же установил за квартирой слежку, предвкушая «блестящее дело». Однако, наши эту слежку заметили, и глухой ночью типография была переведена в другое место. На утро шпики принуждены были донести смущенному Кулакову, что типографии там уже нет.

Она оказалась на окраине города, на Подлужной улице, в доме, стоящем у самого берега Казанки. Этот дом был снят целиком каким-то «молодым человеком». Место было тихое. Соседи с большим интересом присматривались к новому жильцу-чудаку, жившему одиноко в целом доме. Скоро, однако, соседи зашептались. Было установлено, что к молодому человеку по вечерам являются барышни, которые остаются до утра. Если бы ходила одна, было бы понятно — дело житейское, но приходили 2—3 сразу...

Однажды, к утру, Казанка вышла из берегов (дело было весной, река уже вскрылась) и залила двор дома, подойдя к самому крыльцу; и вот, уходившим после ночной работы в типографии наборщицам, или «барышням», как их звали соседи, пришлось, подбирая юбки, пробираться водой под любопытными взглядами и едкими шуточками соседей.

Все это заставило Комитет подумать о перевозке типографии в другое место. Ночью типографию погрузили в подошедшую вплотную к окну лодку и увезли. Поместили ее в Суконной слободе, в отдельном домике на глухой улице. В качестве хозяйки

квартиры здесь поселилась ученица фельдшерской школы Любимова.

Однажды, ненадолго отлучившись, Любимова, придя домой, замечает, что в квартире кто-то был: все перевернуто, перешвырено, но ничего не взято. Ясно, что были не воры. Комитет немедленно же организовал за квартирой наблюдение—не следят ли за ней шпики. Вскоре убедились, что за квартирой действительно следят. Тогда, ранним утром, типографию снова свертывают и помещают в комнате, снятой в квартире одной мещанки в центре города, на Университетской улице.

Хозяйке показалось подозрительным поведение своего нового жильца, и в его отсутствие она, войдя в комнату, начала рыться в его вещах и обнаружила типографию. Перепугавшись, она сейчас же дала знать полиции, которая на этот раз и поспешила уже явиться.

Так закончила свое существование эта злополучная, «бродячая» типография. В руки охранки попали все «вещественные» доказательства партийной техники, но ни одного из ее работников задержать не удалось. Они бесследно исчезли. Так и не удалось ротмистру Кулакову создать «блестящее дело».

Провал этой типографии не привел Комитет в особое уныние. Еще в марте он принялся за постановку другой типографии, которую и удалось поставить, технически значительно лучше оборудовав ее,

чем первую. К тому же шрифт первой типографии сильно поистерся и вообще она уже предназначалась «в архив».

Значительно более трагически дело могло кончиться с одним из транспортов, за которым ездил в один из низовых поволжских городов—не то Самару, не то Саратов—партийный транспортер.

Получив транспорт литературы, товарищ едет на большом волжском пароходе. Одет он очень элегантно, у него каюта первого класса. В новеньких чемоданах пуда два литературы.

На одной из пристаней вздумалось ему сойти на берег и поесть в прибрежной гостинице так любимых коренными волжанами пельменей.

Только человек расположился с комфортом покушать, как пароход дает свисток. Пока он расплачивался, пока бежал до парохода, последний отошел, увозя с собой литературу.

Что делать? Парень в отчаянии. Транспорт так нужен! Организация затратила на него чуть не последние средства. Без него показаться нельзя. Хоть стреляйся!

Сочувствуюшая публика успокаивает товарища.

— У вас каюта, в ней багаж? Ну, что же дайте на следующую пристань телеграмму, чтобы багаж задержали. А на следующем пароходе доедете и возьмете.

Совет был, конечно, хороший для обывателя. В данном же случае это грозило почти неминуемым про-

валом как литературы, так и самого транспортера. Дело в том, что багаж принимает речная полиция и выдает пассажиру не иначе, как по вскрытии его: пассажир должен указать в подтверждение, что он является собственником багажа, что там находится. Если указание правильно, багаж выдается. Ясно, что в данном случае дело было почти безнадежно.

Отчаявшийся товарищ тем не менее решается последовать совету: если уж литература пропала, так сяду с ней и я!—думает он.

Телеграмма дана, товарищ едет. На маленькой пристани, где задержан багаж, товарищ очень важно осведомляется, задержаны ли его вещи, и на утвердительный ответ полицейского дает последнему щедро на чай, как бы в знак своей большой радости, и тем усыпляет бдительность городовика.

Пароход, на котором едет товарищ, здесь долго не стоит, один за другим дает два свистка—и где уж тут возиться со вскрытием багажа.

— Позвольте, барин, я вам донесу,—подобострастно говорит городовик, желая ещё заработать. И городовик собственными руками втаскивает на пароход литературу, получив за это от владельца соответствующую мзду.

Без дальнейших приключений литература прибывает в Казань.

Как видит читатель из этих двух примеров, да и кое в чем из предыдущего изложения, что случай

играл весьма большую роль в жизни и деятельности революционеров... Иногда до нелепости счастливо вывозило, иногда же самым глупейшим образом проваливались.

А осенью Казань зажила, совершенно неожиданно для организации, интенсивной политической жизнью. Как известно, с'ехавшееся осенью студенчество, по предложению социал-демократов, решило к занятиям не приступать, а использовать данную правительством автономию высших учебных заведений для открытых публичных митингов. Началась митинговая полоса. В частности, Казанский университет также открыл свои двери, и широкая, пестрая толпа обывателей, ремесленников и фабрично-заводских рабочих заполнила как актовый зал, так и аудитории. Наибольший успех на этих митингах выпал на долю местного большевистского комитета. Его ораторы были наиболее популярны среди слушателей, его идеи и лозунги пропагандировались и раз'яснялись наиболее широко, его резолюции принимались... А у входа и выхода его уполномоченные собирали открыто деньги на оружие. И сборы были не малые.

В это время мне было предложено одним из приезжавших агентов центра поехать в Витебск для постановки и укрепления там партийной организации.

— Сейчас там засилье бунда. Но есть много элементов для создания крепкой общепартийной организации Р. С.-Д. Р. П.,—говорил мне товарищ,—но там

нет сейчас более или менее сильного организатора. Поезжайте вы.

Я согласился. Однако, в Витебск мне попасть не пришлось. На центральной явке в Москве мне переменили маршрут и направили в Питер, где в это время широко развернулась митинговая кампания в высших учебных заведениях и где не хватало поэтому ораторов.

4.

Итак, в начале октября я в Питере. С интересом гляжу—город кипит, неузнаваем по сравнении с тем, что я видел, будучи здесь весной. Чувствуется, что он живет теперь напряженной революционной жизнью.

С места в карьер, с явки меня отправили на какой-то митинг в университет.

— К кому там обратиться, товарищ?—спрашиваю я.

— К кому же вам там обращаться; если найдете, обратитесь к организаторам, только едва ли вы кого отыщете. Просто идите в аудиторию и записывайтесь у председателя в очередь.

Так я начал свою работу в качестве «митингового оратора», как тогда выражались.

Приезжаю в университет. Как большой зал, так и все аудитории битком набиты народом. С интересом приглядываюсь к составу толпы. Состав ее весьма пестрый: студенческие тужурки, гимназическое пальто городской ремесленник, курсистка, просто барышня,

просто обыватель и значительно реже фабрично-заводский рабочий.

Иногда в толпе мелькают характерные фигуры, резко выделяющиеся на общем фоне. Вот суб'ект в рясе, не то монах, не то священнослужитель. Вот какой-то офицер с перевернутыми для конспирации погонами. Вот извозчик с кнутом в руке...

Выступать я сначала робею. Хотя я уже не один год вел и кружки и массовки, и как-будто бы удовлетворительно справлялся с делом, но сознание, что здесь митинг, да еще в столице, как-то лишало меня необходимой уверенности в себе: справлюсь ли, сумею ли я, провинциал, удовлетворить требованиям, пред'являемым столичной аудиторией к оратору...

Я решил сначала походить по залам, послушать, о чем говорят и как говорят. Вхожу, прислушиваюсь. Темы митинга—«вооруженное восстание и временное правительство». В маленьких аудиториях ораторы говорят неважно, так, пожалуй, и я скажу. Но все-таки выступить—берет робость. Пойду—послушаю еще в главном зале.

Сквозь тысячную толпу пробираюсь к самой трибуне, чтобы лучше слышать и хорошенько рассмотреть столичных крупных ораторов—я не сомневался, что здесь перед тысячной аудиторией говорят лучшие ораторы.

Стою у самой трибуны и гляжу в рот говорящему. Рядом со мною стоит только-что сошедший

с трибуны товарищ, среднего роста, черный, с живыми блестящими глазами. Это был, как узнал впоследствии, «Николай» Коновалов.

— А вы, товарищ, записались?—неожиданно обращается он ко мне.

— Нет еще,—растерявшись от неожиданности, ответил я.

— Так давайте я вас запишу; говорит как раз последний оратор, а митинг распускать нельзя. Как ваше имя?

Так совершенно неожиданно мне пришлось первое свое митинговое выступление сделать не в маленькой аудитории, как я первоначально думал, а в главном зале.

Как сейчас, помню то ощущение, которое я испытывал, когда, стоя на трибуне, я почувствовал напряженное внимание тысячи людей, ждущих — что я им скажу. Людская толпа казалась мне сплошным безликим пятном. В голове сразу стало совсем пусто.

С большим напряжением воли я заговорил и сам не узнал своего голоса. После первых вымученных фраз дело пошло лучше. Понемногу я начал чувствовать, что меня слушают... Говорить стало легче.

Что я говорил, я плохо сознавал, так велико было нервное напряжение, но когда, весь мокрый, я спрыгнул с трибуны и услышал довольно громкие аплодисменты, я был прямо счастлив.

Успех настолько окрылил меня, что я сейчас же пошел по аудиториям и уже не боялся записываться. Я стал митинговым оратором.

С раннего утра до позднего вечера я вместе с десятками других ораторов раз'езжал по учебным заведениям: обойдешь залы и аудитории одного — едешь в другой.

Университетские митинги продолжались числа до 20-го октября. Я уже отметил, что в первые дни состав слушателей был крайне разношерстный и скорее интеллигентско - мещанский в большинстве своем. Однако, скоро он начал меняться. День ото дня в университетские помещения все в бóльшем и бóльшем количестве начали приходить фабрично-заводские рабочие. Барышни в шляпках начали исчезать, студенческие тужурки растворяться и теряться среди рабочих блуз. Я слышал, что где-то было принято от лица рабочих постановление, предлагающее студентам «потесниться», поменьше ходить на митинги, предоставив место рабочим. И, действительно, к концу университетского митингового периода аудитория уже переполнялась почти исключительно фабрично-заводскими рабочими.

Интересно отметить, что в этот период с университетских кафедр почти совершенно не велось полемики между ораторами различных политических партий. Не то ораторы сами избегали этого, не то аудитория не желала „полемики“, но это факт. Большевик говорит, например, о неизбежности вооружен-

ного восстания, призывая рабочих к организации боевых дружин на каждой фабрике, в каждой мастерской. Меньшевик говорит о том же вооруженном восстании, дипломатично обходя «техническую сторону» его подготовки и пропуская между слов излюбленную в то время меньшевиками формулу, что народ надо вооружить прежде всего «жгучей потребностью вооружиться».

Образование Совета Рабочих Депутатов прошло для нас—митинговых ораторов, занятых своим делом, совершенно незаметно, если не считать нескольких схваток между большевиками и меньшевиками в момент призыва последними в аудиториях «выбирать» по заводам представителей в «стачечный комитет». Мы тогда выступали против «выборного стачечного комитета», мы мыслили его составленным в партийном порядке, ибо для нас он был не просто стачечным комитетом, а органом, который должен был взять на себя руководство не только в развертывающейся октябрьской забастовке, но и перевести ее в вооруженное восстание. Ясно, что таким боевым органом не мог быть «выборный стачечный комитет».

Как бы то ни было, выборы все же состоялись, и мы были поставлены перед фактом существования рабочего органа, принявшего название «Совета Рабочих Депутатов». Первые шаги Совета, его хождение по городским думам и прихожим Витте не способствовали завоеванию Советом авторитета в наших глазах,

и уже только позднее, когда тактика Совета выпрямилась и стал ясен авторитет его в широких рабочих массах, наше отношение к нему изменилось и мы фактически стали его обслуживать, неся в массы, популяризируя и раз'ясняя его постановления.

Манифест 17 октября резко изменил ситуацию в городе (в центральной части); еще накануне обывательская уличная толпа ломилась в двери университетов, аплодировала нашим призывам к вооруженной борьбе, а через день наших ораторов, пытавшихся выступать на уличных митингах, улюлюкали и кричали—«довольно».

Наоборот, в рабочих кварталах и в рабочих аудиториях веры в манифест не было, но все же им были довольны, ибо видели в нем испуг правительства перед рабочими волнениями.

Так как наша партия продолжала держать курс на вооруженное восстание, то уж это двойственное отношение центра и рабочих окраин Питера к манифесту об'ективно выдвигало необходимость перенесения центра тяжести нашей агитации из города, с его аудиториями в высших учебных заведениях,—на окраины, в рабочие кварталы. Мне помнится, что этот вопрос о перенесении митингов на заводы сам собой, после 17 октября, начал подниматься все чаще и чаще самими рабочими. Мы, ораторы, уже получали предложения от отдельных фабрик и заводов явиться к ним и устроить митинг.

Правительство ускорило этот естественный процесс. Кажется, 20 октября вечером высшие учебные заведения были окружены войсками и полицией, и митинги в них прекращены. Мы перенесли их на заводы. Так настал второй период митинговой кампании—фабрично-заводской.

Это перенесение митингов на заводы знаменовало собой дальнейший этап углубления и расширения революционной работы в массах пролетариата, начало классовой организации последнего. Хотя я отметил, что к концу университетского периода митингов в аудиториях преобладали фабрично-заводские рабочие, но сюда ходила далеко не вся рабочая масса, а только наиболее сознательные верхи ее. Теперь же в митингах принимала участие вся рабочая масса. Имело большое значение также, что аудитория здесь была классово-однородна, исключительно пролетарская.

Первым следствием этого явилась резкая полемика между эсдеками и эсэрами. Наоборот, практическая совместная работа большевиков и меньшевиков в октябрьские дни способствовала фактическому сближению их. Последнее дало возможность всем эсдекам образовать против эсэров единый фронт.

Эсэры к концу октября стянули в Питер большие и крупные силы и повели систематическое наступление перед рабочей аудиторией на эсдеков с целью отвоевать у нас ряд крупных заводов и создать себе,

таким образом, опорные пункты для работы среди пролетариата Питера.

Рабочая аудитория с большим интересом и вниманием следила за развернувшейся полемикой. Она принимала живое участие в обсуждении вопроса, часто выдвигаемого эсэрами,—какая партия нужна пролетариату: «партия всех трудящихся» (читай эсэров) или партия рабочего класса—Р. С.-Д. Р. П.

Однако, успех в этом вопросе эсэры имели небольшой. Классовый инстинкт петербургского пролетариата, в массе своей порвавшего уже с деревней, заставлял рабочую массу считать своей партией Р. С.-Д. Р. П.

Пробовали эсэры козырять своим лозунгом «земля и воля», но и это плохо проходило, ибо большевики противопоставили ему летучий лозунг — «земля — крестьянам, восьмичасовой рабочий день — рабочим, воля — всему народу»! Это рабочим больше нравилось.

В ноябре как нами, так и массами смутно начало чувствоваться, что митинговая и стачечная форма революционного движения октябрьских дней начинает изживать себя. Надо было сделать следующий шаг. Таким шагом могла быть только вооруженная борьба. Революция начала явно упираться в вооруженное восстание. Но на стороне правительства стоит масса армии, правда, волнующейся, правда, во многих частях своих уже ненадежной, но еще стоящей, даже в лице

своих передовых и революционно-настроенных слоев, отдельно от пролетариата.

Весь 1905 год, а в особенности вторая его половина, богата матросскими и солдатскими волнениями. Борьба рабочего класса явно играла роль возбудителя, и эту тесную зависимость военных бунтов и восстаний от нарастания рабочего движения едва ли кто станет отрицать. Однако, сознание естественной гегемонии пролетариата в борьбе всех трудящихся за свое освобождение проникало весьма туго в толщу волнующихся солдатских масс. В то время, как, напр., в 1916 году воинские части того же Петербурга определенно ждали, когда «начнут рабочие, а нам без них не устоять», в то время, когда в февральские дни 1917 года солдаты в Питере не только выходили из казарм по призыву рабочих, но и охотно сдавали им свое оружие, тем самым фактически признавая революционную гегемонию пролетариата,—в 1905 году солдаты и матросы, как общее правило, весьма ревниво относились к тому, чтобы в их среде во время выступления не было «вольных».

При таком положении вещей первым шагом практической подготовки рабочего класса к восстанию, на ряду с его самовооружением и образованием боевых дружин, являлось «завоевание» себе симпатий в армии, об'единение борющихся частей ее под своим руководством.

Ноябрьское кронштадтское восстание, в результате которого сотням матросов грозил военно-морской суд

и виселица, явилось фактом, который позволил Петербургскому Совету, а с ним и всему питерскому пролетариату, начать борьбу за влияние на армию. Я имею в виду забастовку, которая была об'явлена Петербургским Советом в ноябре и лозунгом которой были—протест против угрозы предания кронштадтских матросов полевому суду и об'явления правительством военного положения в Польше.

Я не знаю, какое впечатление произвела эта ноябрьская забастовка Питера на польские трудящиеся массы, но что касается до русской армии и флота, то известие о том, что рабочие в Питере бастуют, чтобы спасти от смерти кронштадтцев, произвело большое впечатление...

В ноябрьскую забастовку, такую эффектную и организованную с внешней стороны, мы, активные партийные работники, так близко соприкасающиеся с самой гущей пролетарских масс Питера, впервые начали чувствовать признаки усталости масс... Бастовавшие почти непрерывно, начиная с 9-го января, рабочие крупных заводов обессилели...

Эта же ноябрьская забастовка показала нам воочию, что забастовка, как орудие борьбы, притупилась и перестала давать нужный эффект. Однако, те успехи, которыми сопровождалась в течение всего 1905 года забастовочная борьба рабочих Петербурга, в частности в октябре, сделали то, что опьяненные успехами своей стачечной борьбы и открытой деятельностью своего

Совета рабочие как-то невольно центр тяжести своих волевых устремлений перенесли в эту область. Идея необходимости и неизбежности вооруженного восстания, которую на каждом митинге мы широко пропагандировали и которую не раз декларировал в своих заявлениях и резолюциях Совет, как-то не вошла во внутреннее сознание широких масс. И многие из нас со смущением и болью чувствовали в ноябре и в начале декабря, что рабочая масса в соответствующих случаях будет дружно и организованно бастовать, но на баррикадную борьбу не пойдет.

Эту мысль мы упорно гнали от себя, с этим не мирилось наше революционное нутро, и в стачечной борьбе ноября мы заставляли себя видеть подготовку к восстанию...

Однако, к моменту ареста сначала председателя Совета Хрусталева, а потом и всего Совета, уже настолько ясно почувствовалось всеми нами истинное настроение рабочих, что, сколько мне помнится, не было призыва не только к вооруженному восстанию, но даже и ко всеобщей забастовке протеста: чувствовалось, что она не пройдет. Я ясно помню то обидное состояние разочарованности в боевых силах пролетариата Питера, которое меня охватило после ареста Хрусталева и Совета.

Мы собирали митинги, масса охотно и единогласно принимала предложенные нами резолюции, в которых говорилось, что факт «взятия в плен» рабочих депутатов

является со стороны правительства провокационным актом, попыткой спровоцировать рабочих на преждевременное выступление, что рабочий класс на это не пойдет и в ответ на нападение правительства на его представителей усилит подготовку к вооруженному восстанию. Но ясно чувствовалось, что все это простая декларация...

— Нет, — думал я. — Петербургский пролетариат определенно устал сейчас, ему нужна передышка, на баррикады сейчас он не пойдет—он слишком много бастовал. Его должны подкрепить своим выступлением рабочие других промышленных центров. Вооруженное восстание начнется в других местах.

Под влиянием этих мыслей, которые появлялись тогда далеко не у меня одного, я решил немедленно же выехать в провинцию и там работать по подготовке вооруженного восстания.

Имея смутные сведения о захвате власти революционными партиями в октябрьские дни в Казани, о сильном революционном настроении в Сормове, — я остановился на Поволжье.

Петербургский Комитет на мой от'езд согласился, и в первых числах декабря я выехал в Казань.

На партийной явке в Казани я узнаю, что получена телеграмма о вооруженном восстании в Москве и что сегодня вечером Комитет созывает на Алафузовском заводе, крупнейшем в Казани, митинг, посвященный

этому вопросу. Мне было предложено выступить с информацией о Питере.

Когда я прибыл в театр Алафузовского завода, митинг был уже открыт, а трибуну занимал «сам» Алафузов, приехавший из Москвы. Он держал длинную речь о том, что рабочему классу нужно, конечно, организовать на почве защиты своих экономических интересов профессиональные союзы, но что надо избегать политики, которая принесет скорее вред рабочему.

Алафузов кончил и при полном молчании рабочих сходит с трибуны.

Слово берет казанский лидер большевиков — Кулеша, и в страстной речи вдребезги разносит все построения г. Алафузова. Указывая, что в настоящий момент революция уперлась в вооруженное восстание, он огласил телеграмму о начавшемся в Москве восстании, призывая казанских рабочих к немедленной поддержке его.

Речь его сильно наэлектризовала собрание. Настроение достигло еще большего напряжения, когда он заявил, что дает слово представителю петербургской организации. Моя речь была построена в тон Кулеша и заканчивалась тоже выражением уверенности, что казанский пролетариат не обманет надежды на активную поддержку рабочих Петербурга и восставшей Москвы.

Митинг кончился около полуночи. Как рабочие, так и мы, партийные работники, разошлись в весьма

приподнятом и оптимистическом настроении, мечтали в разговорах по дороге об организации вооруженных отрядов, которые направились бы в Москву, присоединяя к себе на пути пополнения, о необходимости фактического захвата всей железнодорожной линии на Москву и т. п.

Не успел я по приходе домой немного отдохнуть, как знакомый стук в дверь, шаблонный ответ, что пришла телеграмма,—и в квартиру врывается полиция. Действительность настолько ярко противоречила всем нашим чаяниям, ожиданиям и планам, что казалась каким-то нелепым недоразумением. Я, конечно, заявил самый энергичный и резкий протест против «нарушения неприкосновенности личности и жилища», отказался не только разговаривать, но и принимать какое-либо участие в обыске, подписать протокол и т. п. Полиция сама, видимо, была крайне сконфужена и растеряна, пристав все время извинялся, женщины, находившиеся в квартире, не были обысканы, что им позволило спрятать на себе мой револьвер и документы, пристав сделал вид, что не заметил разбросанных в моем чемодане револьверных патронов, но тем не менее все-таки мне пришлось сесть с приставом на извозчика и отправиться в знакомую по прежним годам Казанскую губернскую тюрьму.

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

1. История одного предательства (по В. Гюго). Переворот Наполеона III. Перед. Иванчиной-Писаревой. Под ред. Ал. Алтаева. Цена 75 коп.
2. **Арт. Феличе.** Изгнанники Новой Каледонии. (Картины каторги „Коммунаров" 1871 г.). Цена 50 коп.
3. **Мария Борецкая.** В железном круге. (Странички гражданской войны в России). Цена 40 коп.
4. На баррикадах. Сборник рассказов из быта французских революций XIX в. Под ред. Ал. Алтаева. (Распродано).
5. На баррикадах (2-е издание).
6. **ЭНВЭ.** Окровавленная Бретань. Восстание шуанов в 1893 г. во Франции. Цена 60 коп.
7. В преддверии свободы (по Герштекеру). Перед. Иванчиной-Писаревой. (Из эпохи освобождения негров в Южной Америке). Цена 60 коп.
8. **Ал. Алтаев.** Ганс-Дударь. (Восстание крестьян Германии конца XV века). Цена 60 коп.
9. **В. Н. Залежский.** На путях к революции. (Воспоминания большевика о подпольной работе в России с 1896 г. по 1906 г.). Цена 60 коп.
10. Против панов. (По Алоиз Ирасек). В переработке Ал. Алтаева. (Эпизод из эпохи крепостничества в Богемии XVII века). Цена 90 коп.
11. **Ал. Алтаев.** Стенькина вольница. (Повесть из истории восстания Степана Разина).
12. Последний народный трибун. Повесть из истории восстания Коло-ди-Риенци (по Бульверу). Перераб. Иванчиной-Писаревой.



